



pocket**book**

КАДЗУО ИСИГУРО

Не отпускай меня



Annotation

«Не отпускай меня» — пронзительная книга, которая по праву входит в список 100 лучших английских романов всех времен по версии журнала «Time». Ее автор урожденный японец, выпускник литературного семинара Малькольма Брэдли и лауреат Букеровской премии (за роман «Остаток дня»).

Тридцатилетняя Кэти вспоминает свое детство в привилегированной школе Хейлшем, полное странных недомолвок, половинчатых откровений и подспудной угрозы.

Это роман-притча. Это история любви, дружбы и памяти. Это предельное овеществление метафоры «служить всей жизнью».

Кадзуо Исигуро

Не отпускай меня

Посвящается Лорне и Наоми

Меня зовут Кэти Ш. Мне тридцать один, и я вот уже одиннадцать с лишним лет как помогаю донорам. Долго, конечно, но мне было сказано, чтобы я проработала еще восемь месяцев — до конца года. Получится почти двенадцать лет. Теперь я понимаю, что меня, может быть, совсем не потому держат столько времени, что считают мои успехи фантастическими. Бывали отличные помощники, которым приходилось поставить точку всего через два-три года. С другой стороны, я знала одного, у которого это длилось полных четырнадцать лет, хотя он был настоящее пустое место. Так что я не ради хвастовства говорю. Но все-таки я точно знаю, что они довольны моей работой, и я сама в целом тоже довольна. Состояние моих доноров чаще всего бывало гораздо лучше ожидаемого. Реабилитация шла быстро, и почти никому не писали «возбужден» — даже перед четвертой выемкой. Согласна, сейчас уже, наверно, хвастаюсь. Но это очень много для меня значит — ощущение, что я хорошо делаю свое дело, особенно ту его часть, что должна помочь донору оставаться в категории «спокойных». У меня развилось какое-то внутреннее чутье по отношению к ним. Я знаю, когда надо подбодрить, побыть рядом, когда лучше оставить одного; когда терпеливо выслушать, что он говорит, когда просто отмахнуться и сказать, чтобы переменил пластинку.

Так или иначе, я не считаю себя чем-то особенным. Я знаю помощников, они и сейчас работают, которые выполняют свои обязанности не хуже меня, но далеко не так ценятся. Можно понять, если кто-нибудь из них и завидует — моей однокомнатной квартире, моей машине, но в первую очередь тому, что мне позволяют самой решать, о ком я буду заботиться. Ко всему, я еще и воспитанница Хейлшема — одного этого иногда хватает, чтобы на меня посмотрели косо. Эта Кэти Ш., говорят они, может выбирать кого захочет и выбирает только своих — воспитанников Хейлшема или какого-нибудь другого привилегированного заведения. Само собой, она на хорошем счету. Я наслушалась такого достаточно, а вы наверняка еще куда больше, и, может быть, своя правда тут имеется. С другой стороны, я не первая, у кого есть право выбора, и, думаю, не последняя. Как бы то ни было, разве я не отработала свое с донорами из всевозможных других мест? Не забывайте, что к тому времени, как я кончу, за плечами у меня будет двенадцать лет, и только последние шесть из них мне разрешают помогать кому сама захочу.

И правильно делают, по-моему. Помощники ведь не автоматы. С каждым донором стараешься изо всех сил, и под конец это может вымотать. Запас терпения и энергии истощается. Поэтому когда есть выбор, разумеется, выбираешь своих — это естественно. Разве я продержалась бы так долго без общности с донорами, без сочувствия к ним от начала до конца? И, безусловно, не могла бы выбирать — не сблизилась бы снова, спустя годы, с Томми и Рут.

Но чем дальше, тем, конечно, меньше и меньше остается доноров, которых я знаю по прошлым годам, так что на практике я пользуюсь своим правом не слишком уж часто. Как я уже сказала, дело идет куда тяжелее, когда с донором нет хорошей внутренней связи, поэтому, хотя мне будет не хватать обязанностей помощницы, поставить точку в конце года будет, пожалуй, в самый раз.

Рут, между прочим, была только третьим или четвертым донором, которого мне разрешили выбрать. К ней уже была до этого приставлена помощница, и мне, помню, пришлось добиваться, чтобы Рут передали мне. Но в конце концов я это устроила, и едва я ее вновь увидела — в центре реабилитации в Дувре, — все, что нас разделяло, не то чтобы исчезло, но стало куда менее важным, чем другое — например, то, что мы вместе выросли в Хейлшеме, то, что мы знали и помнили такое, чего не знал и не помнил больше никто. Думаю, именно с тех пор я, чтобы выбрать донора и стать его помощницей, начала искать людей из моего прошлого, и прежде всего из Хейлшема.

Бывало за эти годы и так, что я пыталась оставить Хейлшем позади, говорила себе, что не надо все время оглядываться. Но потом всякий раз наступал момент, когда я переставала сопротивляться. К этому имеет отношение один донор, который был у меня на третьем году работы в качестве помощницы. Точнее, его реакция, когда он узнал от меня, что я из Хейлшема. Он только что перенес третью выемку — перенес тяжело и, должно быть, знал, что не вытянет. Он едва дышал, но посмотрел на меня и сказал: «Хейлшем. Там, наверно, было замечательно». На следующее утро, когда я разговаривала с ним, чтобы его отвлечь, и спросила, где вырос он сам, он назвал какое-то место в Дорсете, и его лицо, покрытое пятнами, сложилось в какую-то совсем новую гримасу. Я поняла, как ему не хочется таких напоминаний. Вместо этого он хотел слышать о Хейлшеме.

Так что я дней пять или шесть рассказывала ему все, о чем ему хотелось узнать, и у него на лице, хоть он и лежал весь скрюченный, проступала кроткая улыбка. Он расспрашивал обо всем — о большом и малом. Об опекунах, о личных сундучках для коллекций у каждого из нас под кроватью, о футболе, о раундерз,^[1] о тропинке, которая шла в обход главного корпуса и всех укромных мест, о пруде для домашних уток, о питании, о виде на поля туманным утром из окон комнаты творчества. Иногда он заставлял меня повторять снова и снова: об услышанном вчера спрашивал так, словно я ни разу еще про это не рассказывала. «А павильон^[2] у вас был?... А кто был твой любимый опекун?» Вначале я объясняла это медикаментами, но потом поняла, что голова у него достаточно ясная. Он хотел не просто слушать про Хейлшем, но *вспоминать* его, точно свое собственное детство. Он знал, что близок к завершению, вот и требовал от меня, чтобы я все ему описывала, — хотел днем усвоить как следует, чтобы бессонной ночью среди всех этих изнурительных мук, когда обезболивающие не помогают, у него стиралась граница между моими и его воспоминаниями. Тогда-то я и поняла, по-настоящему поняла, как нам повезло — Томми, Рут, мне и всем остальным, кто с нами был.

То, что я встречаю на пути в своих разъездах, и теперь иногда напоминает мне Хейлшем. Скажем, поле, над которым стоит туман. Или, съезжая с холма, вижу вдалеке угол большого здания. Или даже просто взгляд падает на тополиную рощицу на взгорье — и думаю: «Неужели здесь? Нашла! Ведь правда же — Хейлшем!» Потом соображаю — нет, ошибка, невозможно — и еду дальше, мысли переходят на другое. Павильоны — вот что чаще всего привлекает внимание, я повсюду их замечаю. У дальней стороны спортивного поля — маленькое белое типовое строение, окошки в ряд необычно высоко, почти под самой крышей. Я думаю, таких очень много настроили в пятидесятые и шестидесятые — тогда же, вероятно, появился и наш. Когда попадаетесь такой павильон, я смотрю на него и смотрю, пока можно, и однажды, наверно, дело кончится автокатастрофой — но все равно смотрю. Недавно дорога шла по пустой местности в Вустершире, и у крикетного поля стоял павильон, который был так похож на наш, что я развернулась и проехала немного назад,

чтобы посмотреть еще раз.

Мы любили наш павильон — может быть, потому, что он напоминал нам милые маленькие семейные коттеджи на картинках в детских книжках. Помню, в младших классах мы упрашивали опекунов провести очередной урок не там, где обычно, а в павильоне. А ко второму старшему — нам тогда было двенадцать, шел тринадцатый — павильон стал местом, где можно было уединиться с лучшими друзьями, когда хотелось побыть подальше от остальных.

В павильоне спокойно помещались две компании и не мешали друг другу, а летом на веранде могла расположиться и третья. Но в идеале тебе с друзьями или подружками хотелось занять весь павильон, и часто из-за этого начинались разные маневры и споры. Опекуны то и дело напоминали нам, что решать эти вопросы надо цивилизованно, но на практике, чтобы твоя компания получила павильон на перемену или на свободное время, в ее составе должны были быть сильные личности. Я сама была не робкого десятка, но думаю, что мы так часто занимали павильон благодаря Рут.

Обычно мы рассаживались на стульях и скамейках — нас было пятеро, а если подключалась Дженни Б., то шестеро — и давали волю языкам. Такие разговоры только там, в уединении, и могли происходить: мы делились всякими волнениями и заботами, душевная беседа вполне могла кончиться взрывом хохота или яростной перепалкой. Прежде всего это был способ немного расслабиться, выпустить пар в дружеском обществе.

В тот день, который я сейчас вспоминаю, мы стояли на табуретках и скамейках и глядели в окошки под потолком. Оттуда хорошо было видно северное игровое поле, где собралось для игры в футбол десять-двенадцать мальчишек из второго старшего, как мы, и из третьего. Светило яркое солнце, но утром, наверно, прошел дождь: я помню, как на траве блестела грязь.

Кто-то из нас заметил, что не стоило бы таращиться так явно, но ни одна голова от окон не отодвинулась. Потом Рут сказала: «Он ничего не подозревает. Надо же — совсем ничего».

Услышав это, я бросила на нее взгляд — хотела увидеть, нет ли на ее лице следа неодобрения по поводу того, как ребята собираются поступить с Томми. Но секунду спустя Рут усмехнулась и сказала: «Идиот!»

И я поняла, что в глазах Рут и всей нашей компании замыслы мальчиков были чем-то довольно далеким от нас, одобрять или нет — такого вопроса не возникало. Мы не потому собрались у окон, что хотели порадоваться новому унижению Томми, а просто потому, что слышали про сегодняшнюю затею и нам было немного любопытно, что из всего этого выйдет. Не думаю, что в то время мальчишеские дела занимали нас сильнее. Для Рут и девочек это были вещи, в общем, чужие, и для меня, скорее всего, тоже.

Или, может быть, я ошибаюсь. Может быть, уже тогда при виде Томми, который носился по полю, давая волю радости из-за того, что его опять берут в игру, что он опять покажет свой высокий класс, я почувствовала легкий укол боли. Точно помню, я заметила, что на Томми голубая тенниска, которую он приобрел в прошлом месяце на Распродаже и которой очень гордился. Помню, подумала: «Он и правда дурак, что пошел в ней играть. Бедная тенниска. И каково ему потом будет?» Вслух я сказала, не обращая ни к кому конкретно: «На Томми та самая тенниска. Его любимая».

Никто меня, похоже, не услышал: все смеялись, глядя на Лору, главную нашу клоунессу, которая знай себе изображала, как меняется лицо Томми, когда он бежит, машет, кричит, ведет мяч. Другие ребята кружили по полю в разминочном темпе, все их движения были

нарочито расслабленными, а вот Томми разыграл не на шутку и носился во весь дух. Я сказала — теперь погромче: «Горе у него будет, если тенниска придет в негодность». На этот раз Рут слышала, но, кажется, решила, что и мне захотелось над ним поиздеваться: она вяло усмехнулась и произнесла на его счет что-то свое, ядовитое.

Потом мальчишки перестали катать друг другу мяч и, спокойно, мерно дыша, встали кучкой на грязной траве — ждали разбора игроков по командам. Капитаны вышли вперед — оба из третьего старшего, хотя всем было известно, что Томми играет лучше любого из них. Кинули монетку, кто будет выбирать первым, и капитан, которому повезло, поднял глаза на ребят.

— Гляньте-ка на него, — сказала одна из девчонок у меня за спиной. — Он совершенно уверен, что его возьмут в первую очередь. Только поглядите!

Что-то смешное в нем в тот момент действительно было, и думалось: да, если он и правда такой идиот, он заслужил то, что сейчас произойдет. Другие ребята делали вид, что им плевать на капитанский выбор, что им все равно, какими по счету они окажутся. Одни тихо переговаривались, другие перевязывали шнурки, третьи просто разглядывали свои бутсы, вязнувшие в грязи. Но Томми смотрел на старшего мальчика с таким энтузиазмом, словно его уже выкликнули.

Лора, пока шло распределение игроков, все время гримасничала — повторяла сменяющие друг друга выражения лица Томми: вначале радостный пыл, потом, когда выбрали четверых, а его еще нет, тревога и озадаченность и, наконец, когда он начал понимать, к чему идет дело, боль и отчаяние. Я, впрочем, смотрела на Томми и на Лору не оборачиваясь. О том, чем она занята, я догадывалась по общему смеху и подзадоривающим репликам девочек. Потом, когда Томми остался один и мальчишки начали ухмыляться, я слышала голос Рут:

— Начинается. Внимание. Семь секунд, шесть, пять...

Она не досчитала. Томми громко завопил, а игроки, теперь уже смеявшиеся открыто, побежали к южному игровому полю. Томми сделал несколько шагов за ними — не знаю почему: то ли инстинкт подстрекал его погнаться и поквитаться, то ли он впал в панику из-за того, что его бросили одного. Так или иначе, он сразу остановился. Стоит, лицо багровое, смотрит им вслед. Потом раздались его вопли — бессмысленная смесь похабной ругани и угроз.

Припадков Томми мы к тому времени уже повидали много, так что мы спустились на пол и разошлись по павильону. Начали было разговаривать о чем-то еще, но Томми все время было слышно, и, хотя поначалу мы только пожимали плечами и старались не обращать на выкрики внимания, в конце концов — может быть, через целых десять минут после того, как мы в первый раз отошли от окон, — мы опять встали на табуретки.

Другие ребята уже совсем скрылись из виду, и вопли Томми теперь летели в разные стороны, а не в одну. Он бушевал, потрясал кулаками, посылал проклятия небу, ветру, ближайшему столбу забора. Лора сказала, что он, наверно, репетирует Шекспира. Какая-то другая девочка заметила, что при каждом выкрике он поднимает и отводит ногу, «как кобель, который делает по-маленькому». Я и сама обратила внимание на это движение ногой, но прежде всего мне бросилось в глаза то, что всякий раз, когда он с силой ставит ногу обратно, вокруг брызгами разлетается грязь. Мне опять пришла на ум его драгоценная тенниска, но он был слишком далеко, чтобы я могла увидеть, сильно ли она испачкана.

— Все-таки это немножко жестоко, — сказала Рут. — Так его заводить. Хотя, конечно,

сам виноват. Научился бы собой владеть — оставили бы в покое.

— Нет, не оставили бы, — возразила Ханна. — Грэм К. такой же обидчивый, но они из-за этого только осторожнее с ним себя ведут. Над Томми издеваются потому, что он бездельник.

Тут все заговорили разом — о том, что Томми ни одной попытки даже не сделал проявить себя творчески, о том, что он ничего не выставил на весеннюю Ярмарку. Мне кажется, все в тот момент втайне желали, чтобы из корпуса вышел кто-нибудь из опекунов и забрал Томми. И хотя мы в этом очередном заговоре против Томми не участвовали вовсе, зрительские места мы, как ни крути, занимали и теперь нам было немножко совестно. Но никто из опекунов не появлялся, и мы продолжали объяснять друг другу, почему Томми сам во всем виноват. Когда наконец Рут посмотрела на часы и, хотя время еще оставалось, сказала, что пора возвращаться в главный корпус, спорить никто не стал.

Томми, когда мы выходили из павильона, еще буйствовал. Корпус был слева от нас, а Томми стоял на поле прямо перед нами, и приближаться к нему необходимости не было. К тому же он смотрел в другую сторону и нас, судя по всему, не замечал вовсе. Тем не менее я отделилась от подруг, которые двинулись краем поля, и пошла к нему. Я знала, что это их озадачит, но все равно отправилась, хотя Рут шепотом настойчиво звала меня обратно.

Томми, как видно, не привык, чтобы к нему кто-нибудь подходил в такие минуты. Когда я приблизилась, он уставился на меня, смотрел секунду-другую, потом снова стал бушевать. И правда словно репетировал Шекспира, а я поднялась на сцену посреди монолога. Даже когда я сказала: «Томми, смотри, что с твоей замечательной тенниской. Всю заплескал», впечатление было, что он не слышит.

Поэтому я протянула руку и коснулась его локтя. О том, что он сделал в этот момент, другие подумали, что он нарочно, но я почти уверена, что нет. Он все еще размахивал руками, и откуда ему было знать, что я до него дотронусь? Как бы то ни было, он вскинул руку, отбил мою ладонь в сторону и ударил меня по щеке. Было совсем не больно, но я вскрикнула — и большинство девчонок позади меня тоже.

Тогда-то наконец Томми, кажется, осознал происходящее — увидел меня, других, себя со стороны, понял, как он выглядит посреди поля и как себя ведет, и взгляд, которым он на меня уставился, был довольно глупым.

— Томми, — сказала я очень сурово. — Вся твоя рубашка в грязи.

— Ну и что? — пробурчал он. Но одновременно опустил глаза, увидел коричневые пятна и едва удержался от вопля. Потом на его лице возникло удивление оттого, что я знаю, как он дорожит тенниской.

— Ничего страшного, — сказала я, пока молчание еще не стало для него унижительным. — Отстирается. Если не можешь сам, отдай мисс Джоди.

Но он продолжал исследовать тенниску, потом ворчливо сказал:

— Тебе-то какое дело?

Об этих словах он, кажется, тут же пожалел, и его взгляд сделался робким, сконфуженным — можно подумать, он ждал от меня каких-то успокоительных слов. Но я уже была сыта им по горло, тем более что на нас смотрели девчонки — и еще неизвестно сколько любопытных глаз из окон главного корпуса. Так что я пожала плечами, повернулась и пошла к подругам.

Рут, когда мы уходили, обняла меня за плечи.

— По крайней мере, ты заставила его заткнуться, — сказала она. — Ну как ты, ничего?

Глава 2

Это все давние дела, так что в чем-то я могу и напутать; но мне помнится, что эпизод с Томми в тот день был для меня частью фазы, которую я тогда проходила, — меня все время подмывало ставить себе трудные задачи, — и я успела более или менее забыть об этом случае, когда через несколько дней Томми ко мне обратился.

Не знаю, как было там, где росли вы, но в Хейлшеме мы почти каждую неделю проходили медосмотр — обычно в кабинете 18 на верхнем этаже, — и проводила его суровая медсестра Триша, или Клювастая, как мы ее называли. В то солнечное утро одна толпа мальчишек и девчонок поднималась в ее владения по центральной лестнице, другая, с которой она только что закончила, спускалась. Поэтому весь лестничный колодец был полон голосов, отдававшихся эхом, и я шла вверх, глядя под ноги, чтобы не наступать на пятки идущему впереди. Вдруг рядом прозвучало: «Кэт!»

Томми, который был в потоке спускающихся, намертво встал посреди лестницы с улыбкой до ушей, которая мгновенно рассердила меня. Так улыбаться мы могли несколькими годами раньше, встретившись с тем, кого приятно было увидеть. Но теперь-то нам уже тринадцать, и разве можно мальчику позволять себе такое с девочкой при всех? Мне захотелось пристыдить его: «Томми, сколько тебе лет?» Но я удержалась и сказала вместо этого: «Томми, ты задерживаешь людей. И я тоже».

Он оглянулся и увидел, что задние и правда начали останавливаться. Сперва он растерялся, но секунду спустя прижался к стене рядом со мной, чтобы толпа хоть с трудом, но могла протискиваться. Потом сказал:

— Знаешь, Кэт, я тут искал тебя везде. Хотел извиниться. Seriously. Прошу у тебя прощения. Я честно не хотел тебя ударить. У меня и в мыслях такого не было, чтобы ударить девочку, а если бы и было, то тебя уж точно в жизни бы не тронул. Прости меня, очень прошу.

— Ладно, все хорошо. Случайно вышло. Пустяки. Я кивнула ему и двинулась было дальше. Но Томми радостно произнес:

— Рубашка как новенькая! Все отстиралось.

— Рада за тебя.

— Слушай, тебе не было больно? Когда я тебя ударил.

— Как же не было. Череп треснул. Сотрясение и все такое. Даже Клювастая заметит. Если, конечно, доберусь до кабинета.

— Нет, серьезно, Кэт. Ты правда не обижаешься? Мне очень, очень жаль. Честно.

Я наконец улыбнулась ему и сказала уже серьезно:

— Томми, это была случайность, все позабыто на сто процентов. Зла на тебя у меня ни капельки нет.

Он все еще выглядел неуверенным, но какие-то старшие воспитанники уже толкали его в спину и требовали, чтобы он двигался. Он улыбнулся мне быстрой улыбкой, легонько хлопнул меня по плечу, как мог бы младшего мальчишку, и втиснулся в поток. Я стала подниматься, и снизу до меня донесся его крик: «Всего хорошего, Кэт!»

Томми, я считала, поставил меня немножко в неловкое положение, но дразнить меня или сплетничать никто не стал. Должна признать, что, если бы не эта встреча на лестнице, я в последующие несколько недель, наверно, не заинтересовалась бы так проблемами Томми.

Кое-что я увидела сама, но про большую часть эпизодов слышала. Когда кто-нибудь заговаривал на эту тему, я дотошно всех расспрашивала, пока не составляла более или менее полную картину. Были новые припадки — например, в классе 14, когда Томми будто бы опрокинул два стола, рассыпав по полу то, что на них лежало, и все бросились спасаться от него в коридор и забаррикадировали дверь. В другой раз мистеру Кристоферу пришлось во время футбольной тренировки схватить его за руки и держать, чтобы он не накинулся на Реджи Д. А еще, когда мальчишки из второго старшего соревновались в беге, Томми, я увидела, был единственным, кто бежал один, без напарника. Вообще-то он был хороший бегун и легко отрывался на десять — пятнадцать шагов — может быть, пытался этим затушевать тот факт, что никто не хотел с ним бежать. Кроме всего этого — почти ежедневные слухи об издевательствах и шутках над ним. Многие были обычными — подсунули что-то в постель, подкинули червяка в тарелку, — но кое-что выходило за рамки: однажды, например, его зубной щеткой почистили унитаз, и она дожидалась его с какашками по всей щетине. Из-за того, что он был крупный, сильный — и, думаю, из-за характера, — никто напрямую на него нападать не пытался, но издевательства вроде тех, что я описала, происходили, насколько помню, минимум месяца два. Я думала, рано или поздно кто-нибудь скажет, что хватит, слишком уж далеко зашло, но эти дела продолжались и никто ничего не говорил.

Однажды я сама затронула эту тему — в спальне, когда выключили свет. В старших классах спальни у нас уже были маленькие, всего на шесть человек, как раз только наша компания и никого посторонних, и в темноте после отбоя у нас часто происходили самые душевные разговоры. Иной раз о таком, о чем в другом месте, даже в павильоне, и в голову не пришло бы начать беседу. И вот однажды вечером я заговорила про Томми. Особенно долго не распространялась — просто напомнила в общих чертах, что с ним вытворяли, и сказала, что это не слишком справедливо. Когда кончила, в темноте повисло странное молчание, и я поняла, что все ждут, как ответит Рут. Так всегда бывало в трудных или неловких случаях. Я терпеливо ждала, потом с той стороны, где лежала Рут, раздался вздох, и она сказала:

— Ты отчасти права, Кэти. Это нехорошо. Но если он хочет, чтобы они перестали, ему надо изменить свое собственное поведение. Он ни единой вещицы не дал на весеннюю Ярмарку. И на следующую Ярмарку через месяц у него, думаете, есть что-нибудь? Наверняка нет.

Тут я должна кое-что пояснить насчет наших хейлшемских Ярмарок. Четыре раза в год — весной, летом, осенью, зимой — у нас происходила большая выставка-продажа всего, что мы сотворили за три месяца. Это и картины, и рисунки, и керамика, и всевозможные «скульптуры», сделанные из того, что считалось в то время модным, — скажем, из раздавленных консервных банок или из бутылочных крышек, наклеенных на картон. За каждую представленную вещь тебе платили жетонами (на сколько тянет твой шедевр, решали опекуны), и потом, в день Ярмарки, каждый приходил со своими жетонами и «покупал», что ему нравилось. По правилам «покупать» можно было только у ровесников, но выбор все равно был очень большой, потому что многие успевали за три месяца потрудиться на славу.

Оглядываясь теперь назад, я понимаю, почему эти Ярмарки были для нас так важны. Во-первых, они давали единственную возможность, если не считать Распродаж (Распродажи — это другое, о них еще скажу), собрать коллекцию личных вещиц. Если, к примеру, тебе

хотелось украсить стену возле кровати или носить что-то в сумке из класса в класс и выкладывать всюду на стол, этим можно было обзавестись во время Ярмарки. Но я вижу теперь и другое, более тонкое воздействие этих Ярмарок на нас. Ведь если, желая приобрести что-нибудь ценное для себя, ты зависишь от других, это влияет на твои отношения с ними. Томми — типичный пример. Как к тебе относились в Хейлшеме, насколько тебя любили и уважали — это во многом определялось твоими достижениями в «творчестве».

Рут и я часто потом обсуждали это в центре реабилитации в Дувре, где я ей помогала.

— Хейлшем в том числе и поэтому был единственным в своем роде, — заметила она однажды. — Нас приучали ценить работу друг друга.

— Да, — согласилась я. — Но сейчас я иногда думаю об этих Ярмарках, и многое кажется довольно странным. Взять, например, стихи. Их нам разрешали представлять на Ярмарку наряду с рисунками и живописью, и вот что меня удивляет: мы все считали, что это здорово, что это имеет смысл.

— А почему же не имеет? Поэзия — важная вещь.

— Но ведь кто эти стихи сочинял? Девятилетние, в тетрадках, глупые строчки с кучей ошибок. И мы вместо чего-то действительно красивого, что можно было повесить над кроватью, тратили драгоценные жетоны на тетрадки, исписанные такими вот виршами. Если уж кому-то так нравились чьи-то стихи, почему не взять на время и не переписать? Но нет, ты помнишь, как это было. Приходит Ярмарка — и мы стоим, разрываемся между стихами Сюзи К. и жирафами Джеки.

— Помню, помню, — отозвалась Рут со смехом. — Красивые были жирафы. Я брала одного обычно.

Мы вспоминали об этом погожим летним вечером, сидя на балкончике ее реабилитационной палаты. Прошло уже несколько месяцев после ее первой выемки, и теперь, когда самое тяжелое было позади, я всегда так планировала свои вечерние посещения, чтобы мы могли посидеть там хотя бы полчаса, глядя на солнце, садящееся за крыши. Видно было множество антенн и спутниковых тарелок, а иногда совсем далеко проблескивала полоска моря. Я приносила минеральную воду, печенье, и мы сидели и разговаривали обо всем, что приходило в голову. Центр, где тогда была Рут, — один из моих любимых, и я бы не прочь сама оказаться там напоследок. Реабилитационные палаты там небольшие, но хорошо оборудованные и комфортабельные. Все поверхности — стены, пол — облицованы блестящим белым кафелем, который сотрудники центра содержат в такой чистоте, чтоходишь — и кажется, будто попала в зеркальную комнату. Конечно, нет такого, чтобы ты видела множество своих отражений, но можно настроить себя так, что почти видишь. Поднимешь руку или донор сядет в кровати — и ощущаешь это бледное, теневое движение в кафеле повсюду вокруг. К тому же в палате Рут в этом центре были еще и большие окна со скользящими рамами, так что ей легко было из кровати смотреть наружу. Даже не поднимая головы с подушки, она видела очень большой кусок неба, а в хорошую погоду могла вволю дышать на балкончике свежим воздухом. Мне нравилось бывать у нее там, нравились эти не слишком связные разговоры, которые мы вели, сидя на ее балкончике, — о Хейлшеме, о Коттеджах, обо всем, что приходило на ум.

— Я хочу сказать, — продолжала я, — что в том возрасте, скажем лет в одиннадцать, стихи друг друга нас как таковые не интересовали. Но помнишь, например, Кристи? Она славилась как поэтесса, все ее уважали. Даже ты, Рут, не решалась с ней говорить свысока. И

все потому, что мы считали ее докой по этой части. При этом поэзию мы не ценили и не понимали в ней ровно ничего. Странно как-то.

Но Рут не поняла меня — или, может быть, нарочно не захотела понять. Возможно, она была настроена представлять себе нас более утонченными, чем мы были. Или же почувствовала, куда может завести разговор, и решила не идти в этом направлении. Как бы то ни было, она испустила глубокий вздох и сказала:

— Да, стихи Кристи нам всем очень нравились. Интересно, что бы мы сейчас о них сказали. Я бы охотно их с тобой почитала и сравнила впечатления.

Потом она засмеялась:

— У меня до сих пор хранятся стихи Питера Б. Правда, это уже было гораздо позже — в четвертом старшем. Наверно, он мне нравился — иначе зачем я стала бы их покупать? Сплошная истерика и глупость. Жутко серьезное отношение к самому себе. Но Кристи другое дело, она действительно хорошо сочиняла, я помню. Забавно: потом бросила поэзию и перешла на живопись, но там у нее получалось намного хуже.

Хочу, однако, вернуться к Томми. Мнение, которое Рут высказала тогда в спальне после отбоя, — о том, что Томми сам виноват в своих неприятностях, — думаю, совпадало с мнением большинства в Хейлшеме в то время. Но только когда она договорила, мне, лежащей в темноте, пришло на ум, что такое суждение о нем — как о мальчике, не дающем себе труда попытаться, — бытует уже давно, с младших классов. И я даже похолодела слегка, когда мне стало ясно, что эти испытания тянутся у Томми не какие-нибудь там недели или месяцы, а годы.

Сравнительно недавно мы говорили с ним об этом, и рассказ Томми о начале его неприятностей подтвердил мысли, возникшие у меня в тот вечер. Он сказал, что это пошло с одного из уроков изобразительного искусства у мисс Джеральдины. До того дня Томми, по его словам, очень любил живопись. Но тогда на «изо» у мисс Джеральдины Томми нарисовал одну акварель — на ней был слон, стоящий в высокой траве, — и с нее-то все и началось. С его стороны, он сказал, это была вроде как шутка. Я дотошно его расспросила насчет того эпизода и вижу здесь вполне обычную вещь для такого возраста: делаешь что-то без ясных причин, делаешь, и все. Делаешь, потому что хочешь насмешить, взбудоражить, привлечь к себе внимание. А когда потом просят объяснить твой поступок, он кажется тебе бессмысленным. С нами со всеми такое случалось. Томми сказал об этом немножко по-другому, но я уверена, что именно так все и было.

В общем, он нарисовал этого слона — точно такого, какого мог бы изобразить малыш тремя годами младше. Заняла вся работа от силы минут двадцать, и насмешить эта акварель действительно насмешила, хотя не совсем так, как он ожидал. И все равно это вряд ли имело бы серьезные последствия, если бы урок не вела мисс Джеральдина.

Здесь есть какая-то злая ирония: ведь у нас у всех в том возрасте она была любимой опекуншей. Мягкая, спокойная, всегда готовая утешить, если ты в этом нуждаешься, даже если ты сделал что-то не так или тебя отругал другой опекун. Если ей самой приходилось отругать воспитанника, она потом не один день уделяла ему особое внимание, как будто что-то была ему должна. Томми не повезло, что «изо» в тот день проводила она, а не, скажем, мистер Роберт или старшая опекунша мисс Эмили, которые часто вели этот урок. Будь это кто-нибудь из них, Томми, безусловно, отчитали бы, он бы, наверно, ухмыльнулся, и самое худшее, что подумали бы о нем остальные, — что он неудачно пошутил. Иные, пожалуй, даже решили бы, что он большой юморист. Но мисс Джеральдина — это мисс Джеральдина. Она

повела себя по-своему: глядя на акварель, всем видом своим постаралась выразить участие и понимание. И, вероятно, боясь, что Томми могут высмеять, она перегнула палку: нашла в акварели что-то достойное похвалы и указала на это всему классу. Чем и вызвала недоброжелательство.

— Мы вышли из класса, — вспоминал Томми, — и тогда-то я в первый раз услышал эти разговоры. Им без разницы было, что я их слышу.

Мне кажется, еще до злополучного слона у Томми возникло ощущение, что он не справляется — что рисунки у него, к примеру, получаются гораздо более детскими, чем у сверстников, — и он как мог маскировал свое неумение, нарочно рисуя по-детски. Но после слона это стало явным, и все теперь каждый раз с нетерпением ждали, что он изобразит. Судя по всему, он не сразу сдался окончательно, но стоило ему за что-то взяться, тут же начинались насмешки и издевательства. Чем больше он старался, тем громче над ним смеялись. И довольно скоро Томми вернулся к прежней самозащите — стал рисовать нарочито детские вещи, которыми хотел показать, что он плевать на все это хотел. Проблема усугублялась.

Первое время ему доставалось только на «изо» — впрочем, хватало и этого, потому что в младших классах «изо» было очень много. Но потом стало хуже. Его не брали в игры, мальчишки отказывались садиться с ним за обедом, притворялись, что не слышат, когда он о чем-то заговаривал в спальне после отбоя. Поначалу это проявлялось от случая к случаю. Его могли на месяц оставить в покое, он уже решал, что все позади, но потом либо он, либо один из его врагов — например, Артур Х. — что-то такое делал, из-за чего все начиналось сызнова.

Не могу точно сказать, с каких пор у него пошли сильные припадки ярости. Мне помнится, что Томми всегда, даже в дошкольном возрасте, отличался буйным нравом, но он мне сказал, что припадки начались, только когда его всерьез стали доводить. Так или иначе, этими припадками он настраивал всех против себя, провоцировал, и примерно в то время, о котором я рассказываю, — летом после второго старшего, когда нам было тринадцать, — издевательства достигли высшей точки.

А потом они прекратились — не в одночасье, но довольно быстро. Я, как вы уже поняли, пристально наблюдала тогда за ситуацией, так что перемены увидела раньше, чем большинство. Вначале был период — он длился месяц или больше, — когда Томми по-прежнему регулярно дразнили, но он уже не впадал в бешенство. Иногда я видела, что он вот-вот сорвется, но все же ему удавалось сдержаться; в других случаях он молча пожимал плечами или вел себя так, словно ничего не заметил. Первое время такая реакция обескураживала других мальчишек — они чуть ли не обижались даже, как будто он их подвел. Потом мало-помалу им стало надоедать, и издевательства сделались почти беззлобными. Наконец однажды я обратила внимание, что уже неделю с лишним ничего не происходило.

Само по себе это еще не так много значило, но я заметила и другие перемены. Небольшие вроде бы: например, Александр Дж. и Питер Н. идут с ним через двор к игровым полям, и все трое непринужденно беседуют. Несильно, но вполне различимо изменилась интонация, с какой произносилось его имя. Потом однажды в конце большой перемены наша компания сидела на траве около южного игрового поля, где мальчишки, как обычно, играли в футбол. Я участвовала в разговоре и одновременно наблюдала за Томми, который был в самой гуще игры. В какой-то момент его остановили подножкой, он встал, взял мяч и

положил его, чтобы самому пробить штрафной. Игроки, готовясь к удару, стали рассредоточиваться по полю, и тут Артур Х., один из главных его мучителей, стоя в нескольких шагах за спиной у Томми, начал его передразнивать: изобразил, как он стоит над мячом, уперев руки в бока. Я смотрела внимательно, но, похоже, никто выходку Артура не поддержал. Видеть наверняка видел каждый, ведь все глаза были на Томми, который собирался пробить, а Артур стоял прямо за ним — но никто не проявил интереса. Томми нанес удар, игра пошла дальше, и Артур Х. новых попыток уже не делал.

Все это меня обрадовало — и вместе с тем заинтриговало: ведь в «творчестве» Томми по-прежнему, мягко говоря, не блистал. Я видела, что прекращение припадков ему очень помогло, но нащупать первопричину улучшения мне не удавалось. Что-то изменилось в самом Томми — он по-другому теперь себя держал, по-другому разговаривал, глядя собеседнику в глаза, в своей открытой, доброжелательной манере. И это, в свою очередь, изменило отношение к нему окружающих. Но как так получилось — я понять не могла.

Заинтригованная, я решила немножко его расспросить, когда удастся еще раз поговорить с ним без посторонних ушей. Случай вскоре представился: я стояла в очереди на ланч и увидела его на несколько человек впереди. Как ни странно, в Хейлшеме очередь на ланч была одним из лучших мест для разговора наедине. Отчасти дело тут в акустике Большого зала: среди общего гвалта, который эхом отдавался от высокого потолка, надо было стоять близко друг к другу и понизить голос, и тогда, если соседи были увлечены своими разговорами, появлялся неплохой шанс, что тебя не подслушают. Так или иначе, вариантов было не слишком много. «Тихие» уголки очень часто подводили: вечно оказывалось, что кто-то проходит мимо в пределах слышимости. И если твое поведение давало повод подумать, что ты ищешь местечко для секретного разговора, это за считанные минуты становилось известно всем и каждому и на уединение можно было не рассчитывать.

Так что, увидев Томми впереди, я помахала ему. Перескакивать в очереди вперед правилами запрещалось, а назад — пожалуйста. Он подошел ко мне с довольной улыбкой, и некоторое время мы постояли, ничего особенного не говоря, — не из-за неловкости, а в ожидании, пока спадет интерес, вызванный его перемещением. Потом я сказала:

— Ты повеселел последнее время. Дела, похоже, налаживаются?

— Все-то ты примечаешь, Кэт. — Он произнес это без всякой иронии. — Да, дела идут нормально. Все хорошо.

— Что случилось? Уж не к Богу ли ты пришел?

— К Богу? — Томми на секунду опешил, потом усмехнулся. — А, понятно. Ты о том, что я... что я меньше злюсь.

— Об этом, но не только. Ты вообще сильно изменился. Я наблюдала за тобой. Потому и спрашиваю.

Томми пожал плечами:

— Повзрослел, наверно. И я, и остальные. Неохота стало повторять по кругу одно и то же. Надоедает.

Я молчала, только смотрела на него, пока он опять не усмехнулся и не сказал:

— Любопытная ты, Кэт. Да, если хочешь знать, кое-что случилось. Могу и рассказать, если тебе интересно.

— Говори, я слушаю.

— Хорошо, но пусть это останется между нами, ладно? Месяца два назад у меня был разговор с мисс Люси. И после него мне стало гораздо лучше. Это трудно объяснить. Она

кое-что сказала, и стало лучше.

— Что она сказала?

— Ну... это может показаться странным. Мне, по крайней мере, сперва показалось. Она сказала, что если я не хочу заниматься творчеством, если меня к нему не тянет, то ничего плохого в этом нет. Все нормально, так она сказала.

— Прямо так?

Томми кивнул, но я уже начала отворачиваться.

— Не валяй дурака, Томми. Я не из тех, кому можно вешать лапшу на уши.

Я действительно рассердилась: я заслуживаю доверия, а он мне врет — так я решила. Увидев сзади в очереди знакомую девочку, я отправилась к ней и оставила Томми одного. Я понимала, что он обескуражен и удручен, но после месяцев переживаний ощущала себя преданной им, и мне было все равно, какие чувства он испытывает. Все время, пока двигалась очередь, я как могла непринужденно болтала с подругой (кажется, это была Матильда) и старалась не смотреть в его сторону.

Но когда я несла тарелку на стол, Томми приблизился сзади и быстро сказал:

— Кэт, если ты думаешь, что я вру, ты ошибаешься. Именно так оно и было. Я все тебе расскажу, если ты мне позволишь.

— Не болтай чепуху, Томми.

— Кэт, я тебе все расскажу. После ланча я буду около пруда. Подойдешь — все услышишь.

Я укоризненно на него посмотрела и отошла, ничего не ответив, но, кажется, уже допускала возможность, что он сказал правду насчет мисс Люси. И к тому времени, как мы с подругами сели за стол, я начала прикидывать, как бы мне ускользнуть потом на пруд, не привлекая внимания.

Глава 3

Пруд находился к югу от корпуса. Чтобы к нему попасть, надо было выйти через заднюю дверь и пройти по узкой извилистой тропинке, раздвигая сильно разросшийся папоротник, который загораживал дорогу даже ранней осенью. Или же, если поблизости не было опекунов, можно было срезать через заросли ревеня. Так или иначе, у пруда тебя ожидало сонное спокойствие: утки, камыш, ряска. Для секретного разговора это место, однако, не очень годилось — в сто раз лучше была очередь на ланч. Во-первых, пруд хорошо просматривался из корпуса. Кроме того, никогда не угадаешь, как пойдет по воде звук. Если кому-нибудь захотелось бы подслушивать, надо было только прошмыгнуть по дальней тропинке и спрятаться в кустах на той стороне пруда. Но ведь я сама оборвала Томми в очереди на ланч — так что теперь привередничать не приходилось. Хотя стоял октябрь, и уже не первые числа, день был солнечный, и я решила сделать вид, что гуляю там просто так и на Томми натыкаюсь случайно.

Может быть, потому, что я настроилась так себя вести — хотя понятия не имела, смотрит кто-нибудь или нет, — я не стала садиться, когда наконец увидела его сидящим на большом плоском камне поблизости от воды. Одежда на нас, помню, была своя — значит, была пятница или уик-энд. Во что именно был одет Томми, сказать теперь не могу — скорее всего, на нем была одна из потрепанных футболок, которые он носил даже в прохладную погоду. А я совершенно точно была в тренировочной куртке на молнии, которую приобрела

на Распродаже в первом старшем. Я обогнула камень и стала спиной к пруду, лицом к корпусу, чтобы заметить, если в окнах начнут появляться лица. Потом мы несколько минут говорили о всяких пустяках, как будто в очереди на ланч ничего не случилось. Не знаю, кому — Томми или возможным зрителям — это предназначалось, но держалась я нарочито обыденно и один раз даже пошла было дальше, вроде как продолжать прогулку. Но тут на лице у Томми изобразилось чуть ли не отчаяние, и я мгновенно раскаялась: получалось, что я дразню его, хотя у меня этого и в мыслях не было. И я спросила, словно только что вспомнила:

— Кстати, о чем это ты начал тогда говорить? Насчет мисс Люси.

— А, да... — Томми уставился мимо меня на пруд, тоже делая вид, что совершенно об этом позабыл. — Мисс Люси. Было дело.

Мисс Люси по праву считалась в Хейлшеме самой спортивной опекушкой, хотя по ее виду не всякий мог бы такое предположить. Коренастая, она чем-то напоминала бульдога, и ее черные волосы странно росли вверх и никогда не закрывали ни ушей, ни короткой толстой шеи. При этом она была очень сильная и натренированная, и даже в старших классах мало кто из нас — включая мальчишек — мог тягаться с ней на беговой дорожке. Она великолепно играла в хоккей на траве и не уступала парням старшего возраста на футбольном поле. Помню, однажды Джеймс Б. попытался, когда она вела мяч, остановить ее подножкой, но не тут-то было — сам полетел на траву. Когда мы были в младших классах, она обращалась с нами совсем не так, как мисс Джеральдина, которая могла утешить в беде. В младших она вообще мало с нами разговаривала. Только повзрослев, мы начали ценить ее скупую, энергичную манеру речи.

— Ты стал рассказывать, — напомнила я Томми, — про разговор с мисс Люси. Будто она сказала, что если ты не хочешь заниматься творчеством, то ничего страшного.

— Да, что-то в этом роде. Сказала, чтобы я не беспокоился. Мало ли кто что про меня говорит. Это было месяца два назад. Или чуть побольше.

В корпусе несколько младшекласников остановились у одного из верхних окон и начали смотреть на нас. Но я, забыв о притворстве, присела на корточки напротив сидящего Томми.

— Томми, ведь это очень странно звучит. Ты уверен, что правильно ее понял?

— Конечно уверен. — Он вдруг понизил голос. — Она не один раз это повторила. Мы были в ее кабинете, и она закатила об этом целую речь.

Когда она попросила его зайти к ней в кабинет после урока восприятия искусства, Томми, объяснил он мне, подумал, что его ждет очередная лекция о необходимости прилагать старания. Опекуны, в том числе даже мисс Эмили, проводили с ним такие беседы уже не раз. Но когда Томми и мисс Люси шли от корпуса к оранжерее (там у нас жили опекуны), у него возникло ощущение, что сегодня будет по-другому. Потом, когда он сел в ее удобное кресло (сама мисс Люси осталась стоять у окна), она попросила его рассказать, что, по его мнению, с ним все это время происходило. Томми начал было, но даже до середины не дошел, как она вдруг перебила его и заговорила сама. Она, мол, знала множество воспитанников, которым долгое время очень трудно давалось творчество. Живопись, рисунок, поэзия — все это не один год шло у них со скрипом. Потом в один прекрасный день они вдруг раз — и расцветали. Вполне возможно, сказала она Томми, что и с ним так будет.

Томми слышал подобное и раньше, но было в тоне мисс Люси что-то такое, что заставило его прислушаться.

— Мне ясно стало, — сказал он мне, — что она к чему-то клонит. К чему-то другому.

И действительно, вскоре она начала говорить необычные вещи, которые Томми не сразу воспринял. Но она твердила свое, и понемногу он стал понимать. Если, сказала она, Томми старается по-настоящему, но с творчеством все равно ничего не выходит, это не беда, беспокоиться не надо. Никто — ни опекуны, ни воспитанники — не должен наказывать его, давить на него, мучить его за это. Его вины здесь нет. А когда Томми возразил, что если мисс Люси так думает — это, конечно, хорошо, но все-то остальные считают виноватым именно его, она вздохнула и посмотрела в окно. Потом сказала:

— Может быть, это и не сильно тебе поможет, но знай: в Хейлшеме есть по крайней мере один человек, который думает по-другому. Который считает тебя очень хорошим воспитанником, ничуть не хуже остальных, независимо от твоих творческих результатов.

— Может, она голову тебе морочила? — спросила я Томми. — Может, она таким хитрым способом решила сделать тебе втык?

— Точно нет. Дело в том... — Вдруг, в первый раз за весь разговор, он обеспокоился, что нас могут подслушивать, и оглянулся на корпус. Младшеклассники уже потеряли интерес и отошли от окна; к павильону направлялись несколько девчонок нашего возраста, но они пока что были далеко. Томми опять повернулся ко мне и сказал чуть ли не шепотом: — Дело в том, что, когда она это говорила, ее *трясло*.

— Как это — трясло?

— Натурально. От злости. Я прекрасно видел. Она, глубоко внутри, была в бешенстве.

— Из-за кого?

— Не знаю. Но не из-за меня, вот что самое главное! — Он усмехнулся, потом опять стал серьезным. — Понятия не имею, на кого она злилась. Но злилась здорово.

У меня затекли ноги, и я встала.

— Странно все это, Томми.

— И самое интересное, что этот разговор мне помог. Очень даже помог. Ты сегодня сказала, что дела у меня как будто налаживаются. Ну так это из-за мисс Люси. Я стал потом думать о ее словах и понял: она права, я не виноват. Да, я вел себя не так, как надо. Но все равно где-то там, в самой глубине, я не виноват. Вот это-то все и меняет. А если я чувствую, что могу сорваться, хорошо бывает встретить ее где-нибудь или просто посмотреть на нее, когда сижу на уроке. Она ничего, конечно, не скажет про наш разговор, только слегка кивнет. Но мне этого хватает. Ну вот — ты спрашивала, что со мной случилось. Теперь ты знаешь. Но слушай, Кэт, обещаю тебе: ни слова никому, хорошо?

Я кивнула, но спросила:

— Это она потребовала?

— Нет-нет, она ничего от меня не требовала. Но все равно молчи как рыба. Ты должна дать мне слово.

— Ладно, даю слово.

Девочки, которые шли к павильону, увидели меня и стали махать руками и кричать. Я помахала в ответ и сказала Томми:

— Я теперь пойду. Давай потом это обсудим. Но Томми будто не слышал.

— Было еще кое-что, — продолжал он. — Она и про другое мне говорила, но я толком не понял. Хотел тебя об этом спросить. Она сказала, нас недостаточно учат, что-то в этом роде.

— Недостаточно учат? То есть она думает, что мы должны еще больше заниматься?

— Нет, кажется, она не к этому вела. Она говорила... ну... про нас вообще. Про то, что с нами будет. Про донорство и все такое.

— Но ведь нам это объясняли, — удивилась я. — Не понимаю, что она хотела сказать. Что есть такие вещи, которые от нас пока держат в секрете?

Томми ненадолго задумался, потом помотал головой.

— Нет, по-моему. Просто она думает, что нас надо больше этому учить, вот и все. Она сказала, ей бы очень хотелось самой с нами потолковать на эти темы.

— На какие именно?

— Не знаю, Кэт. Может быть, я вообще не так ее понял. Может быть, она совсем даже не это имела в виду, а еще что-нибудь насчет моих нулевых творческих результатов. Я как в тумане, если честно.

Томми смотрел на меня так, словно ждал, что я добуду откуда-нибудь ответ. Я поразмыслила еще несколько секунд, потом сказала:

— Томми, постарайся вспомнить. Ты говоришь, она злилась...

— Да, вид был такой. Тихая, но ее трясло.

— Хорошо, допустим — она злилась. И что, злость напала на нее, как раз когда она затеяла этот новый разговор? Про то, что нам мало объясняют насчет донорства и прочего?

— Кажется, так...

— Теперь, Томми, подумай. С какой стати она сюда вырулила? Говорила про тебя, про твои трудности с творчеством. Потом вдруг начинает про эти вещи. Где связь? При чем тут вообще донорство? Какое оно имеет отношение к твоим делам?

— Не знаю — какое-то, наверно, имеет. Может быть, одно почему-то навело ее на другое. Кэт, ты что-то слишком во все это погрузилась.

Я засмеялась, потому что он был прав: я хмурила брови, полностью уйдя в свои мысли. Они двигались в разных направлениях одновременно. Рассказ Томми о разговоре с мисс Люси заставил меня кое о чем вспомнить — пожалуй, сразу о нескольких вещах, о мелких эпизодах с участием мисс Люси, которые озадачили меня в свое время.

— Просто... — Я замолчала, вздохнула. — Не могу понятно объяснить, даже сама себе. Просто то, что ты говоришь, напоминает о всяком-разном — о довольно-таки загадочном. Я часто про это думаю. Например, зачем Мадам приезжает и забирает наши лучшие картины? Для чего они ей нужны?

— Для Галереи.

— Но что это за Галерея? Приезжает раз за разом и увозит лучшее, что мы делаем. У нее уже горы должны были накопиться. Я однажды спросила мисс Джеральдину, с каких пор Мадам стала сюда приезжать, и она ответила, что с самого основания Хейлшема. Что это за Галерея? Почему она вдруг решила сделать галерею из наших работ?

— Может быть, продает. Там, снаружи, они всем торгуют.

Я покачала головой.

— Нет, не то. Здесь должна быть какая-то ниточка к тому, что сказала тебе мисс Люси. Про нас, про то, что нам предстоит, про донорство. Не знаю, но мне кажется, что все тут связано одно с другим, хотя не могу сообразить как. Ладно, я пойду, Томми. Давай пока будем молчать обо всем.

— Конечно. И никому про мисс Люси.

— Но ты мне скажешь, если она еще о чем-нибудь таком с тобой заговорит?

Томми кивнул, потом опять оглянулся.

— Ты правда иди, Кэт. А то кто-нибудь нас услышит.

С Галереей, о которой вспомнили мы с Томми, мы, можно сказать, выросли. Все говорили о ней как о чем-то реальном, хотя никто из нас не был по-настоящему уверен в ее существовании. Не помню, когда и от кого я в первый раз про нее услышала, и наверняка я в этом отношении случай довольно типичный. Точно могу сказать, что не от опекунов: они о Галерее никогда не упоминали, и действовало негласное правило, что в их присутствии мы даже и заговаривать не должны на эту тему.

Мне думается теперь, что представление о Галерее передавалось в Хейлшеме от поколения к поколению воспитанников. Помню, мне было всего пять или шесть и я сидела за низким столиком рядом с Амандой С. Руки у нас были липкие от пластилина. Не могу сейчас сказать, были ли в комнате другие дети и кто из опекунов вел занятие. Точно знаю одно: Аманда С., которая была на год старше, посмотрела на то, что я леплю, и воскликнула: «Ой, Кэти, какая красота! Вот здорово! Точно тебе говорю — это возьмут в Галерею!»

Наверняка я уже знала про Галерею. Помню свое волнение и гордость, когда я это услышала, и помню, что мгновение спустя я подумала: «Ну нет, глупости, никто из нас еще не годится для Галереи».

Мы становились старше, и Галерея то и дело возникала в наших разговорах. Если кому-нибудь хотелось похвалить чужую работу, он говорил: «Класс! Прямо для Галереи». Когда мы доросли до иронии, то, увидев какое-нибудь смехотворно неудачное произведение, потешались: «Вот это шедевр! В Галерею немедленно!»

Но действительно ли мы верили в существование Галереи? Сегодня я в этом не убеждена. Как я уже сказала, мы никогда не упоминали о ней в разговорах с опекунами, и мне сейчас кажется, что это правило мы настолько же установили для себя сами, насколько оно исходило от опекунов. Помню один случай, когда нам было лет одиннадцать. Класс 7, солнечное зимнее утро. Только что кончился урок мистера Роджера, и некоторые из нас остались поболтать с ним. Мы сидим на столах, о чем именно идет беседа — не помню, но мистер Роджер, как всегда, заставляет нас покатываться со смеху. И тут Кэрол Х. возьми и скажи сквозь хохот: «Ну просто перл! Хоть в Галереюставляй!» Она мигом прихлопнула рот ладонью, и настроение в классе осталось веселым, но все, в том числе мистер Роджер, понимали, что она совершила ошибку. Не катастрофическую — такую, как если бы с языка сорвалось грубое словцо или прозвучало прозвище опекуна в его присутствии. Мистер Роджер снисходительно улыбнулся, словно говоря: «Ничего, сделаем вид, что это не было сказано», и мы продолжили в прежнем духе.

Если Галерея оставалась для нас чем-то туманным, то вполне ощутимыми были визиты Мадам, отбиравшей наши лучшие работы, — она приезжала два, а иногда три или четыре раза в год. Мы называли ее между собой Мадам, потому что она была француженка или бельгийка (кто именно, возникали споры) и так к ней всегда обращались опекуны. Это была высокая худая женщина с короткой стрижкой, видимо еще довольно молодая, хотя тогда мы считали по-другому. На ней каждый раз был элегантный серый костюм, и в отличие от садовников, от шоферов, привозивших нам продукты и прочее, практически ото всех, кто приезжал извне, она с нами не разговаривала и своей прохладной манерой держала нас на расстоянии. Не один год мы считали ее «задавакой», но однажды вечером, когда нам было лет восемь, Рут выдвинула другое предположение.

— Она нас боится, — заявила она.

Мы лежали в кроватях в темноте. В младших классах нас приходилось по пятнадцати на

спальню, поэтому у нас еще не могло быть таких долгих душевных бесед, какие мы начали вести в старшем возрасте. Тем не менее у большей части нашей «компании» кровати стояли близко друг к другу, и поздние разговоры уже тогда начали входить у нас в привычку.

— Как это — боится? — спросила одна из девочек. — С какой стати она будет нас бояться? Что мы ей можем сделать?

— Не знаю, — сказала Рут. — Не знаю, но точно вам говорю, что это так. Я думала, она просто задавака, но нет, Мадам нас боится, я теперь в этом уверена.

Мы спорили об этом несколько дней. Большинство не согласилось с мнением Рут, но это только придало ей решимости доказать свою правоту. И в конце концов, чтобы проверить ее теорию, мы придумали план, который должны были привести в действие, когда Мадам опять приедет в Хейлшем.

Хотя о приездах Мадам никогда не объявляли, всякий раз было вполне очевидно, что ее ждут. Подготовка к визиту начиналась загодя. Опекуны просматривали все наши работы — картины, рисунки, керамику, прозу, стихи. Продолжалось это недели две, и в итоге по четыре-пять вещей от каждого года обучения, от старших и младших, отбирались и помещались в бильярдную. Бильярдная на это время запиралась, но если забраться снаружи на низенькую ограду, можно было заглянуть в окно и увидеть, как растет улов. Когда опекуны начинали аккуратно все располагать на столах и стендах, устраивая своего рода Ярмарку в миниатюре, мы знали, что Мадам появится через день-два.

Но осенью, про которую я рассказываю, нам нужно было знать не только день, но и точный момент, потому что нередко Мадам гостила всего час-другой. Так что когда мы увидели, что в бильярдной идет раскладка вещей, мы решили дежурить и высматривать ее по очереди.

Задачу сильно облегчало наше местоположение. Хейлшем находился в низине, откуда во все стороны плавно поднимались поля. Это означало, что почти из каждого классного окна в главном корпусе — и даже из павильона — хорошо видно было длинное узкое шоссе, которое шло через поля вниз к главным воротам. Да и от этих ворот расстояние до корпуса еще было приличное, и любой машине, чтобы попасть на площадку перед ним, надо было проехать по гравийной дорожке мимо кустов и клумб. Нередко за день мы не видели на шоссе ни одной машины, а те, что изредка появлялись, обычно были фургончиками или грузовиками, которые везли садовников, рабочих и снабжали Хейлшем всем необходимым. Легковой автомобиль был редкостью, и, возникнув в отдалении, он иной раз вызывал в классе настоящий переполох.

День, когда мы заметили на шоссе машину Мадам, был солнечным, но ветреным, с грозowymi тучами на небосклоне. Мы сидели на втором этаже в классе 9 — окна со стороны фасада, — как вдруг по рядам побежал шепот, и бедный мистер Фрэнк, пытавшийся учить нас правописанию, не мог понять, какая муха нас укусила.

План, который мы разработали для проверки теории Рут, был очень простым. Мы, шесть девочек, должны были устроить где-нибудь засаду и в подходящий момент, все разом, оказаться около Мадам. Вести себя при этом вполне прилично, приблизиться и сразу же двигаться дальше, но если сделать все вовремя, можно застать ее врасплох и, как уверяла Рут, увидеть, что она нас боится.

Нашей главной заботой было подловить Мадам за то короткое время, что она пробудет в Хейлшеме. Когда урок мистера Фрэнка кончился, мы увидели в окно, как она останавливает свою машину на площадке прямо под нами. Мы торопливо посоветовались в коридоре,

спустились вслед за остальными по лестнице и стали околоачиваться в вестибюле у главного входа. Глядя в дверь на освещенную солнцем площадку, мы видели Мадам, которая все еще сидела за рулем и копалась в своем портфеле. Наконец она вышла из машины и двинулась в нашу сторону. На ней был обычный серый костюм, портфель она крепко прижимала к себе обеими руками. Рут подала знак, и мы, словно желая прогуляться, высыпали за дверь и направились прямо к ней — но были точно в забытьи. И только когда она остановилась как вкопанная, каждая из нас пробормотала: «Прошу прощения, мисс», — и обошла ее справа или слева.

Никогда не забуду странную перемену, которая случилась с нами в следующий миг. До тех пор вся затея была для нас если и не просто шуткой, то во многом нашим частным делом, больше никого не касающимся. Мы не особенно думали о том, как в нем может участвовать сама Мадам или кто-либо еще. То есть до последнего момента это было довольно легкомысленное предприятие с небольшой примесью дерзости. И не сказать, чтобы Мадам повела себя каким-нибудь совсем неожиданным образом: она просто замерла и подождала, пока мы пройдем. Не вскрикнула, даже вдоха не выпустила. Но мы все очень напряженно ждали, что будет, и, вероятно, поэтому ее реакция так на нас подействовала. Когда Мадам остановилась, я быстро посмотрела на ее лицо, и такой же взгляд, я уверена, бросили другие. И я до сих пор вижу еле заметное содрогание, которое она подавила, — признак реальной боязни случайно дотронуться до кого-нибудь из нас. И хотя мы все просто прошли мимо, каждая это почувствовала: словно из-под солнца мы на секунду переместились в холодную тень. Рут была права: Мадам действительно нас боялась. Но боялась так, как другие боятся пауков. К этому мы не были готовы. Обдумывая план, мы не задавались вопросом, как мы сами себя почувствуем в такой роли — в роли пауков.

К тому времени, как мы пересекли площадку и вышли на траву, мы уже были совсем другой компанией, чем та, что стояла и азартно ждала, когда Мадам выйдет из машины. Ханна, казалось, вот-вот расплачется. Даже Рут выглядела потрясенной. Потом одна из нас — по-моему, Лора — сказала:

— Если она нас не любит, зачем ей наши работы? Почему бы просто не оставить нас в покое? Кто вообще ее просит сюда приезжать?

Никто не ответил, и мы пошли в павильон — больше о случившемся не было сказано ни слова.

Теперь мне ясно, что мы были как раз в таком возрасте, когда уже знали кое-что о себе — кто мы такие, чем отличаемся от опекунов, от людей вне Хейлшема, — но еще не понимали, что это означает. Я уверена, что и у вас когда-нибудь в детстве было переживание, сходное с нашим в тот день. Сходное не внешне, не в деталях, а внутренне, чувствами. Потому что как бы ни готовили тебя опекуны, сколько бы ни было бесед, видеофильмов, обсуждений, предостережений, до сознания все это по-настоящему не доходит — по крайней мере, когда тебе только восемь лет, когда вы все вместе в таком заведении, как Хейлшем, когда у вас такие опекуны, как были у нас, когда садовники и шоферы шутят с вами, смеются и называют вас «золотко».

И где-то тем не менее это копится. Копится, потому что, когда наступает такой момент, как у нас, оказывается, что часть тебя этого ждала. Лет, может быть, с пяти или шести что-то в твоей голове тихо шепчет: «Когда-нибудь — может, даже и скоро — ты поймешь, каково это». И ты ждешь, пусть даже и не вполне это понимаешь, ждешь момента, когда тебе станет ясно, что ты действительно отличаешься от них, что там, снаружи, есть люди, которые, как

Мадам, не питают к тебе ненависти и не желают тебе зла, но тем не менее содрогаются при самой мысли о тебе — о том, как ты появился в этом мире и зачем, — и боятся случайно дотронуться до твоей руки. Миг, когда ты впервые глядишь на себя глазами такого человека, — это отрезвляющий миг. Это как пройти мимо зеркала, мимо которого ты ходил каждый день, и вдруг увидеть в нем что-то иное, что-то странное и тревожное.

Глава 4

К концу года я уже перестану работать помощницей, и, хотя я очень много от этой работы получила, должна признаться, что буду рада возможности отдохнуть — остановиться, поразмыслить, кое-что вспомнить. Наверняка две вещи в какой-то мере связаны — предстоящая перемена в моей жизни и эта потребность разложить по полочкам воспоминания давних лет. В первую очередь, думаю, мне хотелось разобраться в том, что произошло между мной, Томми и Рут после того, как мы выросли и уехали из Хейлшема. Но теперь мне стало понятно, что из случившегося позже очень многое берет начало в наших хейлшемских временах, и поэтому я хочу вначале аккуратно пройтись по ранним воспоминаниям. Взять, например, наше любопытство в отношении Мадам. На первый взгляд детская забава, и только. Но если посмотреть глубже — начало процесса, который с годами развивался и развивался, пока не стал главенствовать в нашей жизни.

С того дня упоминание о Мадам сделалось у нас если не табу, то довольно редким событием. И вскоре это распространилось с нашей маленькой компании почти на всех наших ровесников. Не то чтобы мы стали менее любопытны на ее счет, но в большинстве своем мы почувствовали, что попытки копнуть глубже — задаться, например, вопросами, что она делает с нашими работами, существует ли Галерея, — могут завести нас на территорию, куда нам ступать еще рано.

Впрочем, тема Галереи все же изредка возникала, так что несколько лет спустя, когда Томми принялся рассказывать мне у пруда о странном разговоре с мисс Люси, в моей памяти что-то забрезжило. Но только потом, когда я оставила его сидеть на камне, а сама поспешила к игровому полю догонять подруг, я вспомнила, что это было.

Это были слова, которые мисс Люси как-то раз сказала на уроке. Я их запомнила, потому что они меня заинтриговали и еще потому, что это был один из редких случаев, когда о Галерее был задан прямой вопрос опекуну.

В самом разгаре у нас было то, что позднее мы назвали «жетонными дебатами». Уже став взрослыми, мы с Томми вспоминали однажды эти дела и поначалу не могли прийти к согласию о том, сколько нам тогда было лет. Я утверждала, что десять, он доказывал, что больше, но в конце концов признал мою правоту. Я, в общем, уверена, что не ошиблась: мы учились тогда в четвертом младшем — эпизод с Мадам был уже позади, но до разговора у пруда оставалось три года.

«Жетонные дебаты» были, я думаю, следствием того, что с возрастом в нас усиливался элемент собственности. Долгое время, как я уже, кажется, говорила, мы считали, что если твою работу берут в бильярдную — и тем более если ее берет Мадам, — то это большое счастье, триумф. Но к десяти годам мы начали испытывать двойственные чувства на этот счет. Ярмарки с их системой жетонов, заменявших деньги, развили в нас привычку назначать цену всему, что мы создавали. Нас стали интересовать футболки с рисунками и надписями, мы принялись украшать стены над кроватями, индивидуализировать письменные столы. И

конечно, нас заботили наши «коллекции».

Не знаю, собирали ли вы «коллекции» там, где росли. Когда встречаешь воспитанников Хейлшема, они всегда, раньше или позже, начинают предаваться ностальгическим воспоминаниям о своих «коллекциях». В то время, конечно, мы воспринимали это как само собой разумеющееся. У каждого под кроватью стоял именной деревянный сундучок, где хранилось личное достояние, приобретенное на Распродажах и Ярмарках. Могу припомнить лишь одного-двух воспитанников, которых коллекции мало интересовали, между тем как подавляющее большинство заботилось о них чрезвычайно: одно выставляли напоказ, другое бережно прятали.

И к десяти годам представление о том, что Мадам, когда забирает вещь, оказывает автору великую честь, вступило в противоречие с ощущением, что мы теряем самый ходовой товар. Критической точки все это достигло в «жетонных дебатах».

Началось с того, что некоторые воспитанники, главным образом мальчишки, принялись ворчать: почему за работы, которые Мадам берет в Галерею, не дают жетонов? Многие с этим согласились, но другие были возмущены. Некоторое время мы спорили об этом между собой, и наконец Рой Дж. (он был на год старше нас, и Мадам взяла несколько его вещей) решил поговорить с мисс Эмили.

Мисс Эмили, наша главная опекунша, была старше остальных. При среднем росте она казалась высокой из-за осанки: мисс Эмили всегда ходила с прямой спиной и высоко поднятой головой. Седоватые волосы она стягивала к затылку, но пряди постоянно выбивались и реяли вокруг ее головы. Я у себя такого не вынесла бы, но мисс Эмили не удостаивала пряди внимания. К вечеру она выглядела довольно странно: кругом эти волосы, которые она, говоря с тобой, как всегда, негромко, неторопливо, не считала нужным отводить с лица. Мы все здорово ее боялись и относились к ней иначе, чем к другим опекунам. При этом считали мисс Эмили справедливой и уважали ее решения; даже в младших классах мы, кажется, чувствовали, что именно ее присутствие, пусть и внушающее некоторый страх, дает нам в Хейлшеме ощущение общей безопасности.

Чтобы отправиться к ней по своей инициативе, нужна была изрядная храбрость, а пойти с таким требованием, какое собирался выдвинуть Рой, казалось самоубийством. Но Рой не получил жестокого нагоняя, которого мы все ожидали, и в последующие дни пошли слухи о разговорах и даже спорах между опекунами по поводу жетонов. В конце концов было объявлено, что жетоны выдавать *будут*, но не очень много, потому что Мадам, выбирая чьи-либо работы, оказывает автору «чрезвычайную честь». Решение не удовлетворило полностью ни тот ни другой лагерь, и ворчание не утихло.

В этой атмосфере Полли Т. задала мисс Люси свой вопрос. Мы сидели в библиотеке вокруг большого дубового стола. Помню, в камине горело полено, и у нас была читка пьесы. Какая-то строчка в пьесе дала Лоре повод отпустить шутку насчет этой жетонной истории, и мы все, в том числе мисс Люси, засмеялись. Потом мисс Люси сказала, что, поскольку в Хейлшеме сейчас только об этом и говорят, она предлагает прекратить читку и провести остальную часть урока за обменом мнениями по поводу жетонов. Чем мы и занимались, пока Полли совершенно неожиданно не спросила: «Мисс, а почему все-таки Мадам забирает наши работы?»

Все замолчали. Мисс Люси редко сердилась, но если уж сердилась, то всерьез, и на мгновение мы подумали, что Полли влипла. Но потом увидели, что мисс Люси совсем даже не злится, а глубоко задумалась. Я, с одной стороны, внутренне взъерилась на Полли за

глупое нарушение неписаного правила, с другой — страшно взволновалась: как ответит ей мисс Люси? Смешанные чувства, разумеется, испытывала не я одна: почти все с нетерпением уставились на мисс Люси, испепелив вначале взглядами бедную Полли, что, наверно, было по отношению к ней довольно жестоко. После паузы, которая показалась очень долгой, мисс Люси сказала:

— Сегодня могу дать только один ответ: по серьезной причине. По очень веской причине. Но если бы я попыталась вам сейчас объяснить, вы вряд ли поняли бы. Когда-нибудь, надеюсь, вам объяснят.

Мы не стали допытываться. Вокруг стола воцарилось глубокое смятение, и, хотя нам очень хотелось услышать больше, нам еще сильнее хотелось, чтобы разговор перешел с этой скользкой темы на что-нибудь другое. Поэтому несколько секунд спустя мы с облегчением возобновили спор о жетонах, в котором теперь была, наверно, доля искусственности. Так или иначе, слова мисс Люси меня заинтриговали, и несколько дней я то и дело принималась о них думать. Вот почему потом у пруда, когда Томми стал рассказывать о разговоре с мисс Люси, о том, как она сказала, что нас «недостаточно учат» каким-то вещам, эпизод в библиотеке и один-два других подобных ему замаячили у меня в памяти.

Раз уж я заговорила о жетонах, скажу и о Распродажах, о которых уже вскользь упоминала. Распродажи были важны для нас потому, что давали возможность получать вещи извне. Теннису свою, к примеру, Томми приобрел на Распродаже. Одежда, игрушки, всевозможные вещицы, изготовленные не нами самими, — все это приходило к нам именно оттуда.

Раз в месяц на длинной дороге, которую видно было из окон, появлялся белый фургончик, и чувствовалось, как по всему корпусу и территории стремительно распространяется волнение. К тому моменту, как он останавливался у корпуса, его уже ждала толпа — главным образом малышня, потому что после двенадцати-тринадцати нехорошо было так явно показывать свое нетерпение. Но равнодушным, если честно, не оставался никто.

Теперь, годы спустя, эта взбудораженность кажется нелепой: Распродажи чаще всего приносили разочарование. Ничего особенного фургончик обычно не привозил, и мы тратили жетоны на то, чтобы взамен изношенного и сломанного приобретать новое похожее. Все дело, по-моему, в том, что каждый из нас в прошлом находил на Распродаже такое, что становилось милой, любимой вещью, — жакетку, часики, какие-нибудь особые ножницы, которые никогда не использовались, но хранились у кровати и были предметом гордости. Такие приобретения когда-то случались у всех, поэтому, как мы ни изображали безразличие, нас помимо воли охватывали былые надежды и волнение.

В том, чтобы присутствовать при разгрузке машины, свой толк все же был. Если ты принадлежал к числу этих младшекласников, ты хвостом ходил в кладовку и обратно за двумя мужчинами в комбинезонах, носившими туда большие картонные коробки, и спрашивал их, что там внутри. «Масса всякого добра, золотко», — отвечали они обычно. Если ты не унимался: «Что, невиданное чудо какое-нибудь?», они рано или поздно улыбались: «Да, золотко, пожалуй, так. Невиданное чудо», за чем следовал восторженный вопль.

Сверху многие коробки были открыты, так что можно было бросить взгляд на их содержимое, и иногда, хотя это не полагалось, мужчины разрешали запустить туда руку и

что-то подвинуть, чтобы лучше было видно. Вот почему к моменту Распродажи, которая происходила примерно неделю спустя, успевали распространиться всевозможные слухи — например, о каком-нибудь особенном тренировочном костюме или о музыкальной кассете, — и порой оттого, что несколько воспитанников нацеливались на одну и ту же вещь, между ними возникало некоторое напряжение.

Распродажи были полной противоположностью Ярмаркам с их чинной атмосферой. В столовой, где проводились Распродажи, всегда было тесно и шумно. Но толкотня и шум тоже были своего рода развлечением, и в целом обстановка на Распродажах была довольно-таки дружественная. Разве что изредка, как я уже сказала, вспыхивал конфликт из-за какой-нибудь вещи, которую хватали и тянули несколько рук, и дело иной раз кончалось дракой. Тогда дежурные старшие воспитанники грозились прекратить все мероприятие, и на следующее утро на общем собрании нас ждал разнос от мисс Эмили.

Наш день в Хейлшеме всегда начинался с общего собрания, которое обычно было довольно коротким — несколько объявлений, потом, может быть, кто-то из воспитанников читал стихотворение. Мисс Эмили, как правило, говорила мало. Держа спину очень прямо, она сидела на сцене нашего зала, кивала на все, что слышала от выступающих, и время от времени бросала суровый взгляд на шепчущихся. Но наутро после неважно прошедшей Распродажи все было по-другому. Она отдавала нам распоряжение сесть на пол (обычно на общих собраниях мы стояли), и не было никаких объявлений и стихов, просто мисс Эмили распекала нас не умолкая двадцать, тридцать минут, а то и дольше. Голос она повышала редко, но в ней в подобных случаях ощущалась какая-то сталь, и никто из нас, даже самые старшие, не осмеливался издать ни звука.

Мы и правда чувствовали себя тогда коллективно виноватыми перед ней, чувствовали, что подвели ее, однако толком воспринимать эти нотации, как ни старались, не могли. Отчасти — из-за ее способа изъясняться. «Недостойны привилегии», «злоупотребление возможностью» — вот два частых выражения, которые вспомнили я и Рут, когда говорили о прошлом в палате дуврского центра. Общий смысл был, пожалуй, еще понятен: мы в Хейлшеме находимся на особом положении и, следовательно, ведя себя плохо, не оправдываем надежд. Но в остальном — полный туман. То она несется вперед на всех парах, то вдруг — резкая остановка со словами типа: «Что это? Что это? Что нас подкашивает?» После чего она стояла с закрытыми глазами и нахмуренным лицом, точно пыталась разгадать загадку. И мы изо всех сил, хоть и сидели смущенные и озадаченные, желали, чтобы она разрешила внутри себя вопрос, который не давал ей покоя. Потом она могла продолжить с мягким вздохом, означавшим, что мы прощены, но с таким же успехом мог последовать и взрыв: «Но я не сдамся! Никогда! Ни я, ни Хейлшем!»

Рут, когда мы с ней вспоминали эти длинные речи, удивлялась: в классе все, что говорила мисс Эмили, было понятно, а тут — ничего не разберешь. Когда я сказала, что иногда видела, как главная опекунша ходит по Хейлшему точно во сне и разговаривает сама с собой, Рут возмутилась:

— Да брось ты, быть такого не могло! Разве стал бы Хейлшем тем, чем он стал, если бы его начальница была чокнутая? Нет, нет! Интеллект у мисс Эмили был как бритва.

Я не стала возражать. Да, мисс Эмили могла быть жутко проницательной. Если, скажем, ты находилась там, где не положено, будь то в главном корпусе или на территории, то при появлении опекуна часто можно было где-нибудь спрятаться. В Хейлшеме имелось очень много подходящих местечек — и в помещении, и снаружи: стенные шкафы, ниши, кусты,

живые изгороди. Но если оказывалось, что приближается мисс Эмили, сердце у тебя падало, потому что она всегда знала, где ты прячешься. Какое-то шестое чувство ей подсказывало. К примеру, ты залезла в стенной шкаф, плотно закрыла дверь, ни один мускул у тебя не дрогнет — и все равно шаги мисс Эмили остановятся у шкафа и ее голос скажет: «Так. Выходи».

Именно это однажды произошло с Сильвией С. на площадке третьего этажа, и тогда у мисс Эмили случился один из ее приступов гнева. Хотя она, в отличие, скажем, от мисс Люси, никогда не принималась на тебя кричать, гнев мисс Эмили был, пожалуй, страшнее. Глаза сужались, и она начинала что-то яростно шептать сама себе, словно обсуждала с невидимым коллегой, какое жестокое наказание подойдет для тебя лучше всего. С одной стороны, тебе при этом очень хотелось услышать, что она шепчет, с другой стороны, совершенно этого не хотелось. Впрочем, обычно мисс Эмили никаким ужасным образом воспитанников не наказывала. Она почти никогда не оставляла их после уроков, не давала штрафных поручений, не лишала привилегий. И все равно само сознание, что ты упала в ее глазах, было невыносимо, и ты хотела немедленно что-то сделать во искупление вины.

Но предсказать что-либо, если дело касалось мисс Эмили, было невозможно. Сильвия, по-моему, получила от нее в тот раз сполна, но, остановив однажды Лору, которая бежала через заросли ревеня, мисс Эмили всего-навсего бросила: «Здесь нельзя, девочка. Мигом домой». И пошла дальше.

Был случай, когда я испугалась, что мне от нее здорово достанется. Я очень любила узкую тропу, которая огибала главный корпус сзади. Она повторяла все выступы и углубления стены; идешь — раздвигаешь кусты, проныриваешь под двумя оплетенными плющом арками и через ржавую калитку. И всю дорогу можно было заглядывать в окна, в одно за другим. Тропа, я думаю, так мне нравилась помимо прочего потому, что я никогда не знала, разрешается по ней гулять или нет. В учебное время, разумеется, нет, но в выходной или вечером — неизвестно. Так или иначе, на ней редко кто появлялся, и, наверно, дополнительное удовольствие давало мне ощущение, что я здесь сама по себе.

И вот однажды я шла по этой тропе солнечным вечером. Кажется, я была тогда в третьем старшем. По пути, как обычно, заглядывала в пустые классы и вдруг в одном из них увидела мисс Эмили. Она была там одна, медленно расхаживала взад-вперед, вполголоса что-то говорила, показывала на что-то рукой и адресовала высказывания невидимым слушателям. Я решила, что она репетирует урок или, может быть, речь на общем собрании, и хотела прошмыгнуть, пока она не видит, но в эту самую секунду она повернулась и посмотрела прямо на меня. Я замерла и подумала, что влипла, но потом увидела, что она продолжает говорить, только теперь обращается ко мне. Потом, как ни в чем не бывало, она повернулась в другую сторону и устремила взгляд на какого-то воображаемого воспитанника. Я пробралась по тропе и весь следующий день боялась встречи с мисс Эмили. Но она ничего мне не сказала.

Однако я, собственно, хочу сейчас о другом. Хочу записать кое-что насчет Рут — о том, как мы встретились и подружились, о наших детских отношениях. Потому что все чаще последнее время, проезжая днем через бесконечные поля или сидя за чашкой кофе у широкого окна на станции обслуживания, я ловлю себя на том, что вновь о ней думаю.

Мы не с самого раннего детства водили дружбу. Как в пять-шесть лет мы играли с Ханной и Лорой, я помню, как с ней — нет. Я сохранила с тех времен только одно расплывчатое воспоминание о Рут.

Я играю на песке. Рядом другие дети, нам тесновато, и мы начинаем злиться друг на дружку. Мы под открытым небом, нас греет солнце, так что, скорее всего, это песочница на нашей площадке для малышей или, может быть, яма с песком для прыжков в длину на северном игровом поле. Так или иначе, мне жарко, хочется пить, и неприятно, что нас тут собралось так много. Потом вижу Рут — она стоит не на песке вместе со всеми, а чуть поодаль. Она очень сердита на двух девочек у меня за спиной из-за чего-то, что, видимо, случилось раньше, стоит и смотрит на них с негодованием. Думаю, что я и Рут были тогда очень мало знакомы, но она, видимо, успела когда-то раньше произвести на меня впечатление: помню, я с двойным усердием стала опять копаться в песке, очень боясь, что она обратит свой гнев и на меня. Я ни слова ей не сказала, но отчаянно хотела дать ей понять, что к тем двум девочкам не имею никакого отношения и совершенно не участвовала в том, что ее рассердило.

Вот и все, что я могу о ней вспомнить из тех ранних времен. Мы были одного возраста и наверняка виделись довольно часто, но, если не считать эпизода в песке, между нами ничего не происходило, кажется, лет до семи, когда мы уже были одноклассницами.

Из двух игровых полей мы, младшие, кучковались в основном на южном, и там, в углу около тополей, Рут подошла ко мне однажды в большую перемену, смерила взглядом и спросила:

— Хочешь покататься на моем жеребце?

В этот момент я увлеченно играла с двумя-тремя другими детьми, но было совершенно ясно, что Рут обращается ко мне одной. Это привело меня в полный восторг, но, прежде чем согласиться, я сделала вид, что взвешиваю предложение.

— А как его зовут?

Рут подошла на шаг ближе.

— Моего *лучшего* жеребца, — сказала она, — зовут Гром. Но его я тебе не дам, потому что слетишь — он горячий. Но можешь, если хочешь, взять Воронка, только без хлыста, пожалуйста. Или бери кого угодно из остальных. — Она произнесла несколько кличек, которые я уже не помню, потом спросила: — А свои лошади у тебя есть?

Прежде чем ответить, я посмотрела на нее и усиленно помозговала.

— Нет. Своих нету.

— Ни одной?

— Ни одной.

— Ладно, так и быть, бери Воронка, и если он тебе понравится, можешь взять насовсем. Только без хлыста. И если идти, то *немедленно*.

Мои подружки, так или иначе, уже отвернулись от меня и опять погрузились в игру. Поэтому я пожала плечами и последовала за Рут.

На поле было множество играющих детей, иные гораздо старше нас, но Рут шла сквозь них очень целеустремленно и все время на шаг-другой меня опережала. Когда мы приблизились к проволочной сетке, огораживающей сад, она обернулась и сказала:

— Вот тут и покатаемся. Садись давай на Воронка.

Я взяла у нее из рук невидимые поводья, и мы начали «кататься» взад и вперед вдоль забора, переходя с рыси на галоп и обратно. Я правильно решила сказать Рут, что у меня нет собственных лошадей, потому что после Воронка она дала мне попробовать на всех своих по очереди, выкрикивая всевозможные указания о том, как с ними обращаться — ведь у каждого животного свои причуды:

— Я же тебе говорила! На Маргаритке сиди прямо! Еще распрямись, еще! Не гнись крючком, она этого не любит!

Видимо, я неплохо все исполняла, потому что под конец она даже позволила мне прокатиться на Громе, своем любимце. Не могу сказать, сколько времени мы провели с ее лошадьми, — по-моему, много, и обе погрузились в игру с головой. Но вдруг без всякой явной причины Рут ее прекратила, заявив, что я нарочно утомляю лошадей и мне пора поставить их всех в конюшню. Она показала на одну из секций забора, и я начала заводить лошадей в стойла одну за другой. Рут чем дальше, тем больше на меня сердилась, говорила, что я все делаю неправильно. Потом спросила:

— Тебе нравится мисс Джеральдина?

Наверно, это был первый раз, когда я по-настоящему задумалась, нравится ли мне опекунша. Наконец я ответила:

— Конечно нравится.

— Нет, я хочу знать — *действительно* нравится? Очень-очень? Больше всех?

— Да, больше всех.

Рут долго не сводила с меня взгляда. В конце концов сказала:

— Хорошо. Тогда я принимаю тебя в ее тайную охрану.

Мы пошли к главному корпусу, и я ждала, что она объяснит, о чем идет речь, но она молчала. Впрочем, через несколько дней я все уже знала.

Глава 5

Не могу точно сказать, как долго продолжалась эта затея с «тайной охраной». Рут, когда мы говорили об этом в центре реабилитации в Дувре, заявила, что всего две-три недели, — но она почти наверняка ошиблась. Видимо, вся эта история смущала ее и потому сократилась в ее памяти. Я думаю, она длилась месяцев девять, а может, и год, нам тогда было семь-восемь лет.

Сама ли Рут придумала «тайную охрану», не знаю, но в том, что она была вожаком, сомнений быть не может. Число участников колебалось между шестью и девятью: Рут то и дело кого-то исключала и кого-то принимала. Мы считали мисс Джеральдину лучшей опекуншей Хейлшема и готовили ей в подарок всякие поделки: вспоминается большой лист с наклеенными на него засушенными цветами. Но главным, ради чего мы объединились, была, конечно, ее защита.

К тому времени, как я вступила в «охрану», Рут и другие уже сто лет знали о заговоре с целью похитить мисс Джеральдину. Кто за ним стоит, с уверенностью сказать мы не могли. То подозревали кое-кого из старших мальчишек, то мальчишек нашего возраста. Мисс Эйлин, опекуншу, которую мы не очень жаловали, мы одно время считали мозгом заговора. Когда должна произойти попытка похищения, мы не знали, но в одном были убеждены: к ней будет иметь отношение лес.

Я говорю о лесе, которым порос холм, поднимавшийся за главным корпусом. Реально мы видели только темную зубчатую полосу деревьев, но, безусловно, не я одна из сверстников день и ночь ощущала их присутствие. В худшие минуты казалось, что лес отбрасывает тень на весь Хейлшем; стоило только повернуть голову или подойти к окну — и вот он, маячит в отдалении. Спокойнее всего было в передней части корпуса: из окон фасада увидеть лес было нельзя. Но даже там невозможно было совсем от него избавиться.

О лесе ходили всевозможные страшные легенды. Однажды, незадолго до того как нас привезли в Хейлшем, какой-то мальчик поссорился с друзьями и убежал с территории. Два дня спустя в том самом лесу нашли его привязанный к дереву труп с отрубленными ступнями и кистями рук. Другой слух был о том, что в лесу бродит призрак девочки. Она воспитывалась в Хейлшеме и однажды перелезла через забор посмотреть, что там снаружи. Это якобы случилось давно, задолго до нас, опекуны были тогда гораздо более строгими, даже жестокими, и когда она попросилась обратно, ее не пустили. Так она и ходила вокруг забора, умоляя, чтобы ей разрешили вернуться, но ей не разрешили. В конце концов она отправилась куда-то еще, там с ней что-то произошло, и она умерла. Но ее призрак все время бродит по лесу, смотрит на Хейлшем и тоскует о нем.

Опекуны твердили нам, что эти истории — полная чушь. Но старшие воспитанники говорили, что в нашем возрасте они слышали от опекунов то же самое и что со временем нам будет, как им, сообщена ужасная правда.

Сильней всего лес действовал на наше воображение в темной спальне, когда мы пытались уснуть. Нам чуть ли не слышался шум ветвей при порывах ветра, и от разговоров обо всем этом делалось еще хуже. Помню один вечер, когда мы, разозлившись на Мардж К. из-за одного дневного проступка, решили ее наказать: вытащили из постели, притиснули лицом к оконному стеклу и велели смотреть на лес. Вначале она держала глаза зажмуренными, но мы скрутили ей руки и силой подняли веки. Она увидела дальний лесной силуэт на фоне лунного неба, и этого хватило, чтобы обеспечить ей ночь сплошного ужаса и рыданий.

Я не говорю, что мы в том возрасте каждую минуту мучились мыслями о лесе. Бывало, я почти не вспоминала о нем неделями, и случалось, что с приливом храбрости приходила мысль: «Как можно было верить такой чепухе?» Но потом какая-нибудь мелочь — скажем, опять услышишь одну из этих историй, прочтешь что-нибудь страшное в книге или просто чьи-нибудь слова напомнят тебе о лесе, — и снова на тебя надолго упадет эта тень. Нечего поэтому удивляться, что лес, как мы воображали, играл центральную роль в заговоре с целью выкрасть мисс Джеральдину.

Впрочем, если всерьез, я не помню, чтобы мы предприняли много практических шагов для защиты мисс Джеральдины. По большей части мы ограничивались сбором улик против заговорщиков. Почему-то нам казалось, что этим мы отводим прямую опасность.

Источником большинства «улик» было наблюдение за предполагаемыми злоумышленниками. Например, однажды утром мы увидели из классного окна на третьем этаже, как внизу во дворе мисс Эйлин и мистер Роджер разговаривают с мисс Джеральдиной. Через некоторое время мисс Джеральдина попрощалась с ними и пошла к оранжерее, но мы продолжали наблюдать и увидели, как мисс Эйлин и мистер Роджер, глядя на удаляющуюся мисс Джеральдину и склонив друг к другу головы, украдкой совещаются.

— Мистер Роджер, надо же, — сказала тогда Рут со вздохом, качая головой. — Кто бы мог подумать.

Так составилась список тех, кто, по нашим сведениям, участвовал в заговоре, — опекунов и воспитанников, которых мы считали нашими заклятыми врагами. Тем не менее мне кажется, что мы все время ощущали шаткость наших построений, и не случайно на столкновение мы никогда не шли. После горячих дискуссий могли решить, что тот или иной воспитанник — один из заговорщиков, но затем всякий раз находилась причина, чтобы до поры, «пока не соберем все улики», не выступать против него открыто. И мы всегда были

согласны в том, что сама мисс Джеральдина ни слова не должна слышать о наших умозаключениях: не следует беспокоить ее понапрасну.

Легче всего было бы сказать, что затея с «тайной охраной» так долго держалась после того, как мы, по существу, ее переросли, усилиями одной Рут. Да, «охрана» очень много для нее значила. Она «узнала о заговоре» гораздо раньше остальных, и это обеспечивало ей огромный авторитет; намекая, что *главные* улики появились до того, как в охрану вступили такие, как я, что есть сведения, которых она даже нам пока не может доверить, она могла оправдать чуть ли не всякое свое решение от имени или по поводу нашего кружка. Если, например, у нее возникало желание кого-то исключить и она чувствовала сопротивление, она просто-напросто смутно намекала на кое-что известное ей «уже давно». Безусловно, Рут очень хотелось, чтобы охрана действовала как можно дольше. Но, по правде говоря, каждый, кого она приблизила к себе, по-своему старался поддержать эту фантазию и продлить ей жизнь. В порядке иллюстрации расскажу о том, что случилось после ссоры из-за шахмат.

Я считала Рут докой по шахматной части и надеялась, что она научит меня играть. Свой резон в этой надежде был: когда мы проходили мимо воспитанников, сидевших над доской у окна или на травянистом склоне, Рут нередко останавливалась посмотреть, а потом, идя со мной дальше, говорила мне про какой-нибудь тонкий ход, который она, в отличие от обоих игроков, увидела. «Потрясающая тупость», — бормотала она, качая головой. Это действовало на меня, интриговало, и вскоре я уже мечтала, что сама смогу погрузиться в мир этих затейливых фигур. Так что, когда я увидела шахматы на Распродаже и решила купить, хотя они стоили уйму жетонов, я рассчитывала на помощь Рут.

Несколько дней потом, однако, когда я заговаривала о шахматах, она вздыхала или делала вид, что у нее какое-то неотложное дело. Наконец дождливым днем я приперла ее к стенке, мы разложили доску в бильярдной, но игра, которую она мне продемонстрировала, была некой сомнительной разновидностью шашек. Отличие шахмат, заявила она, состоит в том, что каждая фигура скачет не прямо, а буквой «Г» (судя по всему, она помнила, как ходит конь). Я ей не поверила и была горько разочарована, но виду не подавала и несколько минут плясала под ее дудку: мы снимали с доски фигуры друг друга, перемещая свои буквой «Г». Это продолжалось, пока она не заявила, что я неправильно, по слишком прямой линии двинула фигуру, которой хотела что-то у нее побить.

После этого я встала, собрала шахматы, повернулась и ушла. Что она не знает, как играть, я ни тогда, ни позже ей не сказала: при всем своем разочаровании я чувствовала, что так далеко лучше не заходить. Впрочем, я и так, думаю, дала ей понять все, что нужно было.

День-два спустя я вошла в класс 20 на верхнем этаже, где мистер Джордж всегда вел уроки поэзии. До урока это было или после, много ли в классе было народу — не помню. Мне запомнилось, что в руках у меня были книги и что Рут и еще несколько человек, к которым я направлялась, сидели на столах в ярком пятне солнечного света и о чем-то разговаривали.

По тому, как они склонились друг к другу, я догадалась, что они обсуждают «тайную охрану», и хотя, как я уже сказала, всего день или два назад я и Рут поссорились, почему-то я без колебаний двинулась прямо к ним. И только когда я уже почти подошла, что-то — может быть, взгляды, которыми они обменялись, — вдруг подсказало мне, чем это кончится. Похоже на долю секунды перед тем, как ступишь в лужу: видишь ее, но ничего уже сделать не можешь. Мне стало больно еще до того, как они замолчали и посмотрели на меня, до того,

как Рут сказала: «А, это ты, Кэти? Здравствуй. Извини, нам тут кое о чем надо побеседовать. Мы закончим через минутку, подожди, хорошо?»

Она еще не договорила, но я уже повернулась и двинулась прочь, сердитая больше даже на себя, чем на них. Не помню, плакала или нет, но огорчена была страшно. Несколько дней после этого при виде «тайной охраны», которая совещалась в углу или шла через поле, я чувствовала, как у меня горят щеки.

Дня через два после унижения в классе 20, когда я спускалась по лестнице главного корпуса, меня нагнала Мойра Б. Мы вышли из корпуса вместе, беседуя о том о сем. Была, наверно, большая перемена: во дворе маленькими группками прогуливались и разговаривали человек двадцать. Мой взгляд сразу же метнулся к дальнему концу двора, где спиной к нам стояли и пристально смотрели в сторону южного игрового поля Рут и еще трое из «тайной охраны». Я пыталась увидеть, что их так заинтересовало, и вдруг почувствовала, что Мойра глядит туда же, куда и я. И тогда я вспомнила, что раньше она тоже была в охране и ее исключили всего месяц назад. Несколько секунд я испытывала острое замешательство: вот мы стоим бок о бок, связанные общим недавним унижением, и, можно сказать, устали этому унижению в лицо. Нечто подобное, может быть, ощущала и Мойра; так или иначе, молчание нарушила именно она:

— Глупость несусветная — вся эта затея с «тайной охраной». Как они могут до сих пор в это верить? Детский сад.

Меня даже сегодня изумляет сила эмоций, овладевших мной, когда я услышала эти слова. В полнейшей ярости я повернулась к Мойре:

— Да что ты об этом знаешь? Ровно ничего, тебя давным-давно исключили! Ты понятия не имеешь о том, что мы выяснили, иначе не смела бы нести такую чушь!

Но Мойру не так-то легко было сбить.

— Это ты несешь чушь. Очередная выдумка Рут, только и всего.

— К твоему сведению, я *своими ушами* слышала, как они это обсуждали! Как собираются увезти мисс Джеральдину в лес в молочном фургоне! Своими ушами — и никакая Рут тут ни при чем!

Мойра посмотрела на меня — мои слова ее поколебали.

— Ты сама слышала? Где? Когда?

— Слышала их разговор, очень отчетливо, каждое слово, они и заподозрить ничего не могли. Там, у пруда, — они думали, что одни-одинешеньки. Говорю, только чтоб показать тебе, как мало ты знаешь!

Задев ее плечом, я резко двинулась дальше и, проходя через двор, где гуляло много народу, опять посмотрела на Рут и ее компанию, по-прежнему не сводивших взгляда с южного игрового поля и не подозревавших о том, что сейчас произошло между мной и Мойрой. Я почувствовала, что обида на них у меня прошла — осталась только громадная досада на Мойру.

Даже сейчас, если я еду по длинной серой дороге и думаю обратиться особенно не на что, я иногда ловлю себя на том, что прокручиваю все это снова. Почему я так разозлилась на Мойру Б., которая, по идее, должна была стать в тот день моей союзницей? Я думаю, что Мойра предложила мне тогда пересечь с ней вместе какую-то черту, а я еще не была к этому готова. Мне кажется, я чувствовала, что за этой чертой меня ждет что-то суровое и темное, такое, чего я бы не хотела ни для себя, ни для остальных.

Но временами я думаю иначе — думаю, что это объясняется только моим отношением к

Рут, преданностью, которую я к ней тогда питала. Может быть, именно поэтому, помогая потом Рут в дуврском центре, я так и не рассказала ей про случай с Мойрой, хотя у меня несколько раз возникало такое желание.

Все эти дела, связанные с мисс Джеральдиной, напоминают мне о том, что' произошло примерно три года спустя, когда идея «тайной охраны» давно уже канула в прошлое.

Мы ждали начала урока в классе 5 на первом этаже с задней стороны корпуса. Класс 5 был самый маленький из всех, и там часто бывало душно, особенно такими, как в тот раз, зимними утрами, когда из-за больших жарких радиаторов запотевали окна. Может быть, я преувеличиваю, но мне помнится, что, если в помещение набивался класс целиком, нам буквально приходилось сидеть друг у друга на голове.

В то утро Рут достался стул за столом, на котором примостилась я, и здесь же, сидя или стоя, теснились еще двое или трое наших. Кажется, именно после того как я подвинулась, чтобы дать кому-то место, я и увидела пенал.

Я и сейчас будто глазами его вижу. Он был блестящий, как лакированная тuffелька, темно-коричневый, его усеивали красные точки, обведенные кружками. По краю шла застежка-молния с пушистым шариком. Когда я подвинулась, я едва не села на этот пенал, и Рут торопливо убрала его из-под меня. Но я увидела его, как Рут и хотела. Я сказала:

— Ух ты! Где ты такой отхватила? На Распродаже?

В классе было шумно, но ближние слышали, и моментально еще три или четыре девчонки стали восхищенно рассматривать вещь. Рут молчала несколько секунд — внимательно изучала лица вокруг. Потом очень обдуманно произнесла:

— Будем считать, что так. *Будем считать*, что на Распродаже.

И многозначительно улыбнулась. Ответ может показаться довольно безобидным, но я восприняла его так, словно Рут внезапно размахнулась и ударила меня. На несколько секунд меня бросило в жар и холод одновременно. Я отлично поняла, что означали ее слова и улыбка: что пенал ей подарила мисс Джеральдина.

Ошибки быть не могло — ведь это готовилось уже не одну неделю. Желая намекнуть на тот или иной небольшой знак внимания к себе со стороны мисс Джеральдины, Рут пускала в ход особую улыбочку, особый голос, иногда добавляя к ним и жест — палец у губ или ладонь у театрально шепчущего рта. Мисс Джеральдина разрешила ей в будний день поставить в бильярдной музыкальную кассету, хотя еще не было четырех часов; мисс Джеральдина на прогулке велела всем молчать, но когда к ней подошла Рут, сама затеяла с ней беседу, а потом и всем позволила разговаривать. Вечно что-нибудь вроде этого, причем Рут никогда не высказывалась прямо, а лишь обиняками, дополняя слова улыбкой и интригующим выражением лица.

Считалось, разумеется, что опекуны не должны заводить любимчиков, но мелкие, лежащие в определенных рамках знаки предпочтения оказывались всегда, и большая часть того, на что намекала Рут, из этих рамок не выходила. Тем не менее я каждый раз молча бесилась. Конечно, никогда нельзя было знать, правду ли она говорит, но, поскольку она ничего, собственно, не говорила, а только давала понять, вывести ее на чистую воду было невозможно. Поэтому мне ничего не оставалось, как смириться, закусить губу и рассчитывать, что обида скоро пройдет.

Иногда наступление одного из таких моментов предвещал ход разговора, и я успевала внутренне собраться. Но и в этом случае удар был ощутимым, и несколько минут потом я не

могла сосредоточиться на происходящем вокруг. А в то зимнее утро в классе 5 все случилось совершенно неожиданно. Даже после того, как я увидела пенал, мне и в голову не могла прийти дикая мысль, что это подарок опекуна. Поэтому, услышав слова Рут, я не смогла, как обычно, справиться с наплывом переживаний. Я смотрела на нее, даже не пытаюсь скрыть злость. Возможно, она почувствовала опасность — громко шепнула мне: «Ни слова!» — и опять улыбнулась. Но я не в силах была ответить ей улыбкой и продолжала смотреть все тем же взглядом. Тут, к счастью, вошел опекун и начался урок.

В том возрасте у меня еще не было привычки раздумывать о чем-то часы напролет. Сейчас это в какой-то мере появилось, но здесь причиной моя работа и долгая одинокая езда через пустые поля. Я не была похожа, скажем, на Лору, которая при всех своих клоунских замашках могла целые дни, даже недели переживать из-за какой-то мелочи, из-за слов, которые кто-то бросил мимоходом. Но после того утра в классе 5 я ходила в каком-то трансе. Могла отключиться посреди разговора, целый урок мог пройти мимо меня. Я была твердо настроена не позволить на этот раз Рут остаться безнаказанной, но долго не предпринимала ничего существенного — только разыгрывала в уме сцены разоблачения, когда припирала Рут к стенке и заставляла признать, что она все выдумала. Однажды я даже нафантазировала, что о ее лжи узнаёт мисс Джеральдина и при всех устраивает Рут хорошую головомойку.

Шли дни, и в конце концов я начала размышлять об этом более основательно. Если пенал не от мисс Джеральдины, то откуда он взялся? Рут могла, конечно, получить его от кого-то из воспитанников, но это было маловероятно. Если бы он раньше кому-то принадлежал, пусть даже хозяин был бы на несколько лет старше нас, такая потрясающая вещь не осталась бы незамеченной. Зная, что пенал в Хейлшеме уже видели, Рут не затеяла бы эту игру — не посмела бы. Почти наверняка она купила его на Распродаже. Свой риск в этом, конечно, тоже был. Но если — как иногда происходило, хотя вообще-то не разрешалось — она прослышала о пенале до Распродажи и заранее договорилась о покупке с кем-нибудь из дежурных старших воспитанников, она имела основания рассчитывать, что все будет шито-крыто.

Впрочем, все, да не все. На каждой Распродаже покупки и имена покупателей записывались в журнал. Хотя эти журналы не были легкодоступны (после Распродажи дежурные относили их в кабинет мисс Эмили), сверхсекретными они тоже не были. Если на следующей Распродаже я буду околачиваться рядом с дежурным, заглянуть в журнал особого труда не составит.

Так в голове у меня начал вырисовываться план, и, поразмыслив несколько дней о его деталях, я вдруг сообразила, что реально осуществлять все шаги не обязательно. Если моя догадка, что пенал куплен на Распродаже, верна, я добьюсь своего и с помощью блефа.

Результатом был разговор между мной и Рут под карнизом. В тот день стоял туман и моросил дождь. Вдвоем мы куда-то шли от спальных домиков — может быть, к павильону, не помню. Так или иначе, мы шли через двор, и тут дождь внезапно усилился, и поскольку торопиться было некуда, мы укрылись под карнизом главного корпуса сбоку от входа.

Там мы немного постояли, из тумана время от времени возникали воспитанники и вбегали в корпус, дождь все не утихал. И чем дольше мы там стояли, тем сильнее я напрягалась, потому что понимала: вот она — возможность, которой я ждала. Рут тоже, я уверена, чувствовала, что назревает какой-то разговор. Наконец я решила — все, хватит ждать, вперед.

— Во вторник на Распродаже я листала журнал, — сказала я. — Ну, знаешь, — журнал

покупок.

— Чего ради ты его листала? — быстро спросила Рут. — Зачем тебе вдруг понадобилось?

— Да так просто. Дежурил Кристофер К., я с ним разговорила. Он больше всех мне нравится из старших мальчишек. Мы говорили, и я листала журнал — просто так, от нечего делать.

Рут — мне ясно было — моментально смекнула, к чему я об этом начала. Но она отозвалась безразличным тоном:

— Скучное, наверно, чтение.

— Да нет, довольно интересно было. Ведь там все указано — кто что купил.

Произнося эти слова, я смотрела на дождь. Потом перевела взгляд на Рут — и меня как током ударило. Не знаю уж, чего я ожидала; целый месяц до этого я размышляла и фантазировала, но даже не попыталась вообразить себе, как все может произойти в действительности. Я увидела, что Рут потрясена, уничтожена; в один миг она полностью лишилась дара речи и, казалось, вот-вот разрыдается. И вдруг мое поведение представилось мне совершенно диким. Все эти замыслы, планы — только для того, чтобы расстроить мою лучшую подругу? Ну приврала она маленько насчет пенала — что из этого? Разве не посещали нас всех иногда мечты: а вдруг кто-нибудь из опекунов немножко нарушит ради меня правила и сделает мне что-то хорошее? Неожиданно обнимет, напишет тайное письмо, подарит что-нибудь? Рут всего-навсего продвинула одно из этих безобидных мечтаний на шаг дальше; она даже не упомянула имени мисс Джеральдины.

Теперь и я почувствовала себя ужасно, и я пришла в смятение. Но пока мы стояли там и смотрели на туман и дождь, я не могла придумать способа уменьшить вред, который нанесла. Кажется, я промямлила что-то жалкое: «А впрочем, ты права, ничего особенного я там не увидела» — или вроде того; мои слова по-идиотски повисли в воздухе. Потом, после еще нескольких секунд молчания, Рут ушла под дождь.

Глава 6

Я думаю, мне было бы легче, если бы Рут каким-нибудь явным образом рассердилась на меня. Но похоже, она просто сдалась, сникла. Словно ей было слишком стыдно, она была слишком *раздавлена*, чтобы злиться или хотеть дать мне сдачи. После разговора под карнизом поначалу, встречаясь с ней, я ожидала, по крайней мере, некоторого раздражения с ее стороны — но нет, она держалась вполне вежливо, хоть и суховато. Я подумала — наверно, она боится меня, боится, что я всем расскажу (пенал, конечно, больше не появлялся), — и захотела сказать ей, что она может быть спокойна на мой счет. Но поскольку эта тема открыто между нами не обсуждалась, я не знала, как подступиться, как начать разговор.

Между тем я при любой возможности давала всем понять, что, по моему мнению, Рут занимает особое место в сердце мисс Джеральдины. Однажды, например, наша компания очень захотела поиграть на перемене в раундерз для тренировки: нас вызвала на матч команда воспитанников годом старше. Но шел дождь, и шансов, что нас выпустят, было мало. Я, однако, обратила внимание, что среди дежурных опекунов есть мисс Джеральдина. Я сказала:

— Если *Рут* пойдет попросит мисс Джеральдину, может, нам и разрешат.

Поддержки, насколько помню, предложение не получило; скорее всего, его вообще мало кто слышал, потому что многие говорили разом. Но важно было другое — я сказала это, стоя возле Рут, и мне видно было, что ей приятно.

В другой раз несколько человек выходили из класса с мисс Джеральдиной, и случилось так, что следом за ней к двери первая приблизилась я. В этот момент я замедлила шаг, чтобы вместо меня около мисс Джеральдины оказалась Рут, которая шла за мной. Все было сделано очень спокойно, без всякой театральности, как если бы это был вполне естественный, обычный поступок, который должен прийти по душе мисс Джеральдине, — поступок человека, скажем, случайно затесавшегося между двух лучших друзей. Рут, насколько помню, долю секунды выглядела озадаченной, потом быстро кивнула мне и прошла.

Подобные мелочи, видимо, нравились Рут, но все это пока еще было очень далеко от случившегося между нами под карнизом в тот туманный день, и ощущение, что я никогда не смогу поправить дело, нарастало и нарастало. Помню, однажды вечером я сидела на скамейке у павильона, снова и снова пыталась найти какой-то выход, и смесь раскаяния и бессилия была такой густой и тяжелой, что я не могла сдержать слез. Не знаю, что было бы, если бы все между нами так и осталось. Может быть, в конце концов мы забыли бы о произошедшем; может быть, отдалились бы друг от друга. В реальной жизни, однако, мне ни с того ни с сего вдруг представился случай загладить свой промах.

Шел урок изобразительного искусства, и мистер Роджер, который его вел, почему-то вышел. Поэтому мы просто слонялись вокруг мольбертов, болтали и разглядывали работы друг друга. В какой-то момент девочка по имени Мидж А. подошла к нам и вполне доброжелательным тоном спросила Рут:

— Слушай, а где твой пенал? Вещица — прелесть!

Рут вся напряглась и стрельнула глазами туда-сюда, чтобы знать, кто рядом. Кроме нашей обычной компании еще, может быть, двое или трое — остальные были далеко. Я ни одной живой душе не сказала про журнал покупок, но Рут-то этого не знала. Ее голос, когда она отвечала Мидж, был мягче обычного:

— Я не взяла его с собой. Я держу его у себя в сундучке.

— Прелесть он все-таки. Откуда он у тебя? Мидж расспрашивала без всякой задней мысли — это было уже очевидно. Но почти все, кто находился в классе 5, когда Рут впервые вынула пенал, были теперь рядом, слушали, и я видела, что Рут колеблется. Только потом, проигрывая все заново в уме, я оценила, какой мне выпал великолепный шанс. Но тогда я не думала. Просто взяла и вмешалась, прежде чем Мидж или еще кто-нибудь успел заметить странное смятение Рут:

— Мы не можем тебе сказать, откуда этот пенал.

Рут, Мидж и все остальные посмотрели на меня с удивлением. Но я знай себе продолжала, обращаясь к одной Мидж:

— Есть очень серьезные причины, по которым мы не можем тебе этого сказать.

Мидж пожала плечами:

— Тайны какие-то...

— Одна *большая* тайна, — сказала я и улыбнулась ей, давая понять, что вовсе не хочу ее обидеть.

Другие кивнули, поддерживая меня, а вот у Рут выражение лица стало отсутствующим, как будто она внезапно озабочилась чем-то совершенно посторонним. Мидж еще раз пожала плечами, и, насколько помню, на этом все и кончилось. То ли она отошла, то ли заговорила о

чем-то другом.

Во многом по тем же причинам, по каким я не могла открыто извиниться перед Рут за разговор о журнале покупок, она теперь, конечно, не могла поблагодарить меня за помощь после вопроса Мидж. Но по ее поведению в течение даже не дней, а недель мне хорошо было видно, насколько она расположена ко мне. Из-за того, что недавно я сама была в похожем положении, мне очень даже заметны были признаки желания сделать для меня что-то хорошее, чем-нибудь меня порадовать. Ощущение было очень приятное, и раз или два, помню, я даже подумала, что хорошо бы она долго-долго не находила для этого возможности, — тогда теплomu чувству между нами не было бы конца. Возможность ей все же представилась — примерно через месяц после случая с Мидж, когда я потеряла любимую кассету.

Точно такую же кассету, которая появилась у меня много позже, я храню, и до недавнего времени я, бывало, ставила ее, когда ехала в дождь по открытой местности. Но теперь магнитофон в машине стал барахлить, и я опасаюсь, что он испортит кассету. А в квартире слушать ее у меня обычно нет времени. И все равно это одна из самых дорогих мне вещей, какие у меня есть. Может быть, к концу года, когда я больше не буду помощницей, я смогу слушать ее чаще.

Подборка песен называется «После захода солнца», а исполнительницу зовут Джуди Бриджуотер. У меня уже не та кассета, что была в Хейлшеме, — ту я потеряла, — а другая такая же, которую мы с Томми нашли в Норфолке годы спустя. Но об этом я расскажу потом. Сейчас — о первой кассете, об исчезнувшей.

Прежде чем двигаться дальше, следует объяснить, какое представление у нас тогда возникло насчет Норфолка. Оно держалось годы и годы — в какой-то момент стало, думаю, расхожей шуткой, — а началось все с одного урока, когда мы еще были довольно маленькие.

О графствах Англии нам рассказывала сама мисс Эмили. Она прикалывала к доске большую карту, а рядом устанавливала стенд и, если говорила, к примеру, про Оксфордшир, на стенд помещала большой календарь с фотографиями разных уголков графства. У нее была изрядная коллекция этих цветных календарей, и большинство графств мы изучили именно таким образом. Она показывала какое-нибудь место на карте, потом поворачивалась к стенду и открывала соответствующую картинку. Мы видели то деревушку с протекающей через нее речкой, то белый монумент на холме, то старую церковь среди полей; если речь шла о морском побережье, были пляжи, полные отдыхающих, утесы с чайками. Я думаю, она хотела дать нам представление о большом мире вокруг нас, и очень странно, что даже сейчас, когда я столько миль намотала в качестве помощницы, понятие о тех или иных графствах во многом задано у меня этими картинками на стенде у мисс Эмили. Еду, скажем, по Дербиширу и ловлю себя на том, что высматриваю площадь в центре городка с пабом в тюдоровском стиле и военный мемориал — в общем, те самые виды, что показала нам мисс Эмили, когда я впервые услышала от нее о Дербишире.

Но важно для меня сейчас другое: в коллекции календарей у мисс Эмили был пробел. Ни единой картинки, посвященной Норфолку. Таких уроков она провела с нами несколько, и я все думала: может быть, сегодня она наконец покажет нам норфолкские виды? Но нет, каждый раз одно и то же. Она перемещала указку по карте и говорила словно бы в добавление к сказанному: «А здесь находится графство Норфолк. Очень милое место».

Но вот однажды она в этот момент задумалась — может быть, не определила заранее,

что пойдет дальше вместо картинки. Потом опомнилась и снова отыскала указкой точку на карте.

— Вы видите — это самый восток, выступ суши, омываемый морем, через который никаких путей никуда не проходит. Когда люди направляются на север или на юг, — указка пошла вверх, потом вниз, — они проезжают мимо. Поэтому Норфолк — тихий край, довольно мирный, приятный. Но в каком-то смысле потерянный.

Потерянный край. Край потерь. Так она назвала Норфолк, и с этого-то все и началось. Потому что в Хейлшеме на четвертом этаже был свой «край потерь» — место, где складывали забытые или потерянные вещи. Если ты что-нибудь потерял или нашел, надо было идти на четвертый этаж. Кто-то — не помню, кто именно, — сказал после того урока, что мисс Эмили потому назвала Норфолк потерянным, что там в конце концов оказывается потерянное имущество со всей страны. Почему-то эта идея прижилась и вскоре в глазах почти всех моих сверстников превратилась в непреложный факт.

Не так давно, когда мы с Томми обсуждали прошлые дела, он сказал, что по-настоящему мы никогда в это не верили, что с самого начала это была шутка, и только. Но я практически уверена, что здесь он ошибся. Да, к двенадцати-тринадцати годам Норфолк *стал* для нас постоянной шуткой. Но насколько я помню (Рут, кстати, со мной согласилась), вначале мы верили в Норфолк в совершенно буквальном смысле: мы считали, что подобно тому, как в Хейлшем едут машины с продовольствием и товарами для Распродаж, так и по всей Англии, то есть в масштабе куда большем, движутся грузовики в этот самый Норфолк, доставляя туда все, что забыто или потеряно в полях и поездах. То, что мы никогда не видели изображений Норфолка, лишь добавляло этому графству загадочности.

Это может показаться невероятной глупостью, но вы не должны забывать, что для нас в то время любое место за пределами Хейлшема было какой-то сказочной страной; о внешнем мире, о том, что там возможно и что невозможно, мы имели чрезвычайно смутное представление. Кроме того, мы совершенно не стремились как-либо проверить нашу норфолкскую теорию. Важно для нас, как сказала однажды вечером Рут, когда мы сидели в этой облицованной кафелем дуврской палате и смотрели на закат, было то, что «если ты потеряла что-нибудь ценное, искала-искала и не нашла, ты не должна была отчаиваться. У тебя оставалось последнее утешение — мысль, что когда-нибудь, когда ты вырастешь и тебе позволят свободно ездить по стране, ты, если захочешь, сможешь отправиться в Норфолк и найти потерянное».

Думаю, Рут была права. Норфолк стал для нас настоящим, большим утешением, которое, пожалуй, значило гораздо больше, чем мы представляли себе тогда, — потому-то мы и став постарше говорили на эту тему, пусть и в шутиливом тоне. И не случайно годы спустя, когда мы с Томми нашли в Норфолке в приморском городке другой экземпляр потерянной мной кассеты, мы не подумали, что это забавно и только. Мы оба почувствовали глубоко внутри какой-то толчок, какое-то ожившее желание опять поверить в то, что раньше было дорого нашему сердцу.

Но я собиралась рассказать про кассету — про «После захода солнца» Джуди Бриджуотер. Первоначально это была долгоиграющая пластинка (запись 1956 года), но мне, естественно, досталась кассета, и картинка на вкладыше, вероятно, представляла собой уменьшенную копию пластиночного конверта. На Джуди Бриджуотер пурпурное атласное платье, по тогдашней моде не закрывающее плеч, и видна только верхняя часть ее фигуры,

потому что она сидит за стойкой бара. Задний план приводит на ум Южную Америку: пальмы, смуглые официанты в белых смокингах. Джуди сфотографирована с той точки, в какой мог бы находиться бармен, подающий ей напиток. Она смотрит на тебя дружелюбным, в меру завлекательным взглядом — если флиртует, то лишь чуть-чуть, как с человеком, знакомым ей давным-давно. Еще одна деталь: Джуди положила локти на стойку и держит дымящуюся сигарету. Именно из-за сигареты я с первой же минуты, когда обнаружила кассету на Распродаже, развела вокруг нее такую секретность. Не знаю, как там, где были вы, но в Хейлшеме опекуны ужасно строго относились ко всему, что связано с курением. Они, я уверена, были бы очень рады, если бы от нас можно было скрыть, что такая вещь, как курение, существует; но такой возможности не было, и поэтому они при любом возникновении этой темы читали нам своего рода лекцию. Если, скажем, нам показывали портрет знаменитого писателя или политического деятеля, а у него в руке была сигарета, течение урока немедленно прерывалось. Ходил даже слух, что некоторых классических книг — например, о Шерлоке Холмсе — потому нет в нашей библиотеке, что главные герои там слишком много курят, и если в иллюстрированной книжке или журнале попадалась вырванная страница, иные говорили, что там наверняка был изображен кто-то с сигаретой или трубкой. На уроках нам не раз демонстрировали жуткие картинки, показывающие, что происходит с внутренностями у курильщика. Вот почему вопрос, с которым Мардж К. обратилась однажды к мисс Люси, вызвал такое потрясение.

Мы сидели на траве после игры в раундерз, и мисс Люси вела с нами обычный предостерегающий разговор о курении, как вдруг Мардж спросила, не пробовала ли когда-нибудь курить сама мисс Люси. Несколько секунд мисс Люси молчала, потом сказала:

— Я была бы рада ответить тебе «нет». Но если честно, я курила некоторое время. Примерно два года, когда была моложе.

Можете себе представить, какой это был шок. Пока мисс Люси медлила с ответом, мы все негодуяюще смотрели на Мардж, посмевавшую задать такой грубый вопрос, — все равно что спросить, не набрасывалась ли мисс Люси на людей с топором. Не на один день потом мы превратили жизнь Мардж в сплошное страдание; о вечерней пытке, когда мы прижали Мардж лицом к окну спальни и заставили смотреть на лес, я уже упоминала. Но в первый момент после того, как мисс Люси сделала свое признание, мы были так ошеломлены, что напрочь забыли про Мардж. Помню, мы в ужасе уставились на мисс Люси, ожидая, что она скажет дальше.

Когда она наконец заговорила, она взвешивала каждое слово очень тщательно.

— Я плохо поступила, когда стала курить. Курение приносило мне вред, и я с ним покончила. Но я хочу, чтобы вы поняли: вам, всем без исключения, курение намного, намного вреднее, чем даже мне.

Она остановилась и замолчала. Кто-то потом сказал, что она замечталась, но мне, как и Рут, было ясно: она усиленно думает, что говорить дальше. Наконец она произнесла:

— Вам об этом уже известно. Вы воспитанники. Вы... *особый случай*. Поэтому заботиться о своем здоровье, держать в порядке свое тело для каждого из вас гораздо важнее, чем для меня.

Она опять умолкла и странно на нас посмотрела. Потом, когда мы это обсуждали, некоторые говорили, что наверняка она ужасно хотела услышать вопрос: «Почему? Почему для нас это важнее?» Но никто его не задал. Я часто вспоминала тот день и уверена теперь, в свете случившегося позднее, что если бы вопрос прозвучал, мисс Люси сказала бы нам все

как есть. Всего-навсего надо было задать еще один вопрос о курении.

Так почему же мы промолчали? Мне кажется, потому, что уже в том возрасте (нам было девять или десять лет) мы знали достаточно, чтобы опасаться ступить на эту территорию. Мне трудно припомнить в точности, что нам тогда было известно, а что нет. Безусловно, мы знали, пусть это знание и было очень поверхностным, что отличаемся от наших опекунов и от всех нормальных людей снаружи; может быть, мы даже знали, что в далеком будущем нас ждет донорство. Но смысла всего этого мы по-настоящему не понимали, и если избегали разговоров на какие-то темы, то скорее потому, что они *смущали* нас. Вдобавок ко всему тяжело было видеть неловкость, которую испытывали опекуны, когда мы приближались к этой территории. Перемена, которая с ними происходила, расстраивала нас. Потому-то, думаю, мы и не стали ни о чем больше спрашивать мисс Люси, потому-то и наказали так жестоко Мардж К. за то, что она вылезла со своим вопросом после игры в раундерз.

Теперь вам понятно, почему я окружила кассету такой тайной. Я даже повернула бумажку картинкой внутрь, так что Джуди и ее сигарету теперь можно было увидеть, только открыв пластмассовый футляр. Но кассета так много значила для меня вовсе не из-за сигареты и даже не из-за того, как Джуди Бриджуотер пела, — это типичная эстрада того времени, песни коктейль-баров, такие никому из нас в Хейлшеме не нравились. Кассета стала мне так дорога из-за одной определенной песни, которая идет под номером третьим: «Не отпускай меня».

Вещь медленная, ночная, американская, и одно место там Джуди повторяет несколько раз: «Не отпускай меня... О детка, детка... Не отпускай меня...» Мне было одиннадцать лет, и до тех пор я не часто слушала музыку, но эта песня меня проняла. Я всегда старалась держать кассету перемотанной на начало, чтобы можно было послушать при первом же удобном случае.

А случаев представлялось не так уж много: до того времени, как на Распродажах начали появляться плееры, оставалось еще несколько лет. Большой магнитофон стоял в бильярдной, но там всегда было полно народу, и свою кассету я там почти никогда не ставила. В комнате творчества тоже был магнитофон, но шумели там обычно не меньше, чем в бильярдной. Так что единственным местом, где я могла нормально послушать, оставалась наша спальня.

К тому времени мы перебрались в маленькие спальни на шесть кроватей в отдельных домиках, и на полке над радиатором у нас стоял портативный кассетник. Вот туда-то я и уходила — обычно днем, когда в спальню редко кто заглядывал, — слушать свою песню еще и еще раз.

[Купить полную версию книги](#)

notes

Раундерз — британская игра в мяч, напоминающая бейсбол и лапту. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Павильон — здесь: небольшое строение у спортплощадки, крикетного или футбольного поля, которое служит, в частности, раздевалкой.